

ФЕДЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛИЗМ И АНТИТЕОЛОГИЗМ

*Мотивированное предложение Центральному комитету
Лиги Мира и Свободы¹²⁷ от М. Бакунина*

Женева

Господа!

<...> Умолчание, полуправда, урезанные мысли, любезные смягчения и уступки трусливой дипломатии — все это непригодно для совершения великих дел: они требуют возвышенного сердца, ясного и твердого ума, четко поставленной цели и неукротимой смелости. Господа, мы начали великое дело, поднимемся же на его высоту. Оно будет великим или смешным, середины быть не может, и чтобы оно было великим, необходимо по меньшей мере, чтобы благодаря нашей смелости и искренности мы тоже стали великими.

Не академический разбор принципов предлагаем мы теперь вашему вниманию. Мы не забываем, что собрались здесь главным образом, чтобы согласовать политические средства и меры, необходимые для осуществления нашего дела. Но мы знаем также, что в политике не может быть честной и полезной практической деятельности без теории и ясно определенной цели. В противном случае, сколь мы ни воодушевлены самыми широкими и свободолюбивыми чувствами, мы могли бы прийти к совершенно противоположным практическим результатам: мы могли бы начать с республиканскими, демократическими и социалистическими убеждениями, а кончить как бисмаркианцы или как бонапартисты¹²⁸ <...>.

Итак, посмотрим, каковы принципы нашей новой ассоциации? Она называется *Лигой Мира и Свободы*. Это уже много; этим мы отличаемся от всех тех, которые стремятся к миру любой ценой, даже ценой свободы и человеческого достоинства. Мы отличаемся также и от английского общества мира, которое, абстрагируясь от всякой политики, воображает, что при современном устройстве государств в Европе мир возможен. В противоположность этим ультрапацифистским тенденциям парижского и английского обществ, наша Лига

объявляет, что она не верит в мир и что она желает мира лишь при высшем условии свободы.

Свобода — это возвышенное слово, означающее великое дело, которое никогда не перестанет воспалять сердца всех живых людей. Но оно требует точного определения. Иначе мы не избежим двусмысленности, и в наших рядах могут оказаться бюрократы — сторонники гражданской свободы, монархисты-конституционалисты, либеральные аристократы и буржуа, все те, кто в той или иной степени является защитником привилегий и естественным врагом демократии. Они могут составить большинство среди нас под предлогом, что они тоже любят свободу.

Чтобы избежать последствий этого досадного недоразумения, Женевский конгресс¹²⁹ объявил, что он желает «основать мир *на демократии* и свободе», отсюда следует, что для того, чтобы стать членом нашей Лиги, надо быть демократом. Значит, исключаются все аристократы, все сторонники какой-либо привилегии, какой-либо монополии или какой бы то ни было политической исключительности, ибо слово «демократия» означает не что иное, как управление народом посредством народа и для народа, понимая под этим последним наименованием всю массу граждан — а в настоящее время надо прибавить и гражданок, — составляющих нацию.

В этом смысле мы все, конечно, демократы.

Но мы должны в то же время признать, что этот термин, «демократия», недостаточен для точного определения характера нашей Лиги и что, рассматриваемый в отдельности, он может, так же как термин «свобода», дать повод к кривотолкам. Разве мы не видели, как в Америке еще в начале этого века плантаторы, рабовладельцы Юга и их приверженцы в Северных Штатах называли себя демократами? А современный цезаризм с его мерзкими последствиями, нависший как страшная угроза над всем, что зовется в Европе человечностью, не именует ли он себя тоже демократичным? И даже московский и санкт-петербургский империализм, это Государство без фраз, этот идеал всех централизованных военных и бюрократических держав, не во имя ли демократии он раздавил недавно Польшу?

Очевидно, что демократия без свободы не может служить нам знаменем. Но что такое демократия, основанная на свободе, если не Республика? Соединение свободы с привилегиями создает монархиче-

ский конституционный режим, но ее соединение с демократией может осуществиться лишь в Республике. Из осторожности, которой мы не одобряем, Женевский конгресс нашел нужным воздержаться в своих резолюциях от слова «республика». Но, объявляя свое желание «основать мир на демократии и свободе», он невольно показал себя республиканцем. *Итак, наша Лига должна быть одновременно демократической и республиканской.*

И мы думаем, что все мы здесь республиканцы в том смысле, что, движимые беспощадной логической последовательностью, предостерегаемые столь же спасительными, как и жестокими уроками истории, всем опытом прошлого и в особенности событиями, которые омрачили Европу после 1848 года, и теми опасностями, которые ей угрожают сегодня, мы все пришли к одному убеждению: *монархические институты несовместимы с царством мира, справедливости и свободы.*

Что касается нас, господа, то мы как русские социалисты и как славяне считаем своей обязанностью открыто заявить, что для нас слово «республика» не имеет другого значения, кроме значения *чисто отрицательного*: оно означает свержение или уничтожение монархии. Слово это не только не способно нас воспламенить, но, напротив, всякий раз, как нам представляют республику как положительное, серьезное решение всех злободневных вопросов, как высшую цель, к достижению которой мы должны направлять все наши усилия, нам хочется протестовать.

Мы ненавидим монархию всем сердцем; мы не хотим ничего большего, чем ее свержения в Европе и во всем мире, и мы убеждены, как и вы, что ее уничтожение есть условие *sine qua non*¹³⁰ освобождения человечества. С этой точки зрения мы — искренние республиканцы. Но мы не думаем, что достаточно свергнуть монархию, чтобы освободить народы и дать им мир и справедливость. Напротив, мы твердо убеждены, что крупная военная, бюрократическая, политически централизованная республика может стать и непременно станет державой, стремящейся к внешним завоеваниям, к угнетению внутри страны, что она будет неспособна обеспечить своим подданным, даже если те будут называться гражданами, благоденствие и свободу. Разве мы не видели великую французскую нацию дважды объявляющей себя демократической республикой и

оба раза теряющей свою свободу и дающей себя вовлечь в завоевательные войны?

Припишем ли мы, подобно многим другим, эти плачевные падения легкомысленному темпераменту и историческим дисциплинарным привычкам французского народа, который, как утверждают его клеветники, способен завоевать свободу внезапным сокрушительным порывом, но не умеет пользоваться ею и применять ее на практике?

Мы не можем, господа, присоединиться к этому осуждению целого народа, одного из самых просвещенных народов Европы. Мы убеждены, что если Франция дважды теряла свободу, а демократическая республика там превращалась в военную диктатуру и в военную демократию, то в этом повинен не характер ее народа, а ее *политическая централизация*. Централизация эта, издавна подготовленная французскими королями и государственными людьми, воплотившаяся позже в человеке, названном льстивой придворной риторикой Великим Королем¹³¹, затем повергнутая в бездну позорными деяниями одряхлевшей монархии, конечно, погибла бы в грязи, если бы Революция не подняла ее своей могучей рукой. Да, странная вещь эта великая революция, впервые в истории провозгласившая свободу не только гражданина, но и человека: став наследницей монархии, которую она убила, она воскресила в то же время отрицание всякой свободы — *централизацию и всемогущество Государства* <...>.

Не очевидно ли, господа, что для того, чтобы спасти в Европе свободу и мир, мы должны противопоставить этой чудовищной и подавляющей централизации военных, бюрократических, деспотических, конституционно-монархических или даже республиканских государств великий, спасительный *принцип Федерализма*, принцип, чье блистательное проявление явили нам между прочим последние события в Соединенных Штатах Северной Америки.

С этих пор для всех истинно желающих освобождения Европы должно быть ясно, что, сохраняя все свои симпатии к великим социалистическим и гуманистическим идеям, провозглашенным Французской Революцией, мы должны отбросить ее политику Государства и решительным образом воспринять североамериканскую политику свободы.

I. ФЕДЕРАЛИЗМ

Мы рады заявить, что Женевский конгресс единодушно приветствовал этот принцип. Сама Швейцария, которая, к слову сказать, так успешно применяет его теперь на практике, присоединилась к нему без всякого ограничения и приняла его со всеми вытекающими последствиями. К сожалению, в резолюциях конгресса этот принцип был очень плохо сформулирован и упомянут лишь косвенным образом, во-первых, по поводу Лиги, которую мы должны основать, и ниже по поводу журнала, который мы должны издавать под заглавием: «Соединенные Штаты Европы». Между тем, по нашему мнению, он должен был бы занять первое место в нашей декларации принципов.

Это весьма обидный пропуск, который мы должны поспешить заполнить. Согласно с единодушным мнением Женевского конгресса, мы должны провозгласить:

1) Что для того, чтобы свобода, справедливость и мир восторжествовали в международных отношениях Европы, для того, чтобы сделать невозможной гражданскую войну между различными народами, составляющими европейскую семью, есть только одно средство: образование *Соединенных Штатов Европы*.

2) Что Штаты Европы не могут быть образованы из государств в том виде, в каком они сложились сейчас, по причине чудовищного неравенства их сил.

3) Что пример скончавшейся Германской конфедерации¹³² доказал неоспоримым образом, что конфедерация монархий — это насмешка, что она бессильна гарантировать населению как мир, так и свободу.

4) Что ни одно централизованное, бюрократическое и тем самым военное государство, называясь оно даже республикой, не сможет серьезным и искренним образом войти в интернациональную конфедерацию. По своей конституции, которая всегда будет открытым или замаскированным отрицанием свободы внутри, оно неизбежно будет постоянным призывом к войне, угрозой существованию соседних стран. Основанное существенным образом на последующем акте насилия, на завоевании или на том, что в частной жизни называется кражей со взломом, — акте, благословленном церковью любой религии, освященном временем и превратившемся, таким образом, в

историческое право, — и опираясь на это божеское освящение торжествующего насилия как на исключительное и высшее право, всякое централистское государство считает для себя возможным абсолютное отрицание прав всех других государств, признавая их в заключенных с ними договорах только в политических интересах или по немощности.

5) Что все приверженцы Лиги должны будут, следовательно, направлять все свои усилия к переустройству своих отечеств, дабы заменить старую организацию, основанную сверху донизу на насилии и авторитарном принципе, новой организацией, не имеющей иного основания, кроме интересов, потребностей и естественных влечений населения, ни иного принципа, помимо свободной федерации индивидов в коммуны, коммун в провинции*, провинций в нации, наконец, этих последних в Соединенные Штаты сперва Европы, а затем всего мира.

б) Следовательно, полный отход от всего, что называется историческим правом государств; все вопросы о естественных, политиче-

* Славный итальянский патриот Джузеппе Мадзини, чей республиканский идеал не что иное, как французская республика 1793 года, исправленная в духе поэтических традиций Данте и властолюбивых воспоминаний о властелине земли Рима, потом пересмотренная и исправленная с точки зрения новой теологии, наполовину рациональной и наполовину мистичной, — этот замечательный патриот, честолюбивый, страстный и всегда исключительный, несмотря на все его усилия подняться до уровня международной справедливости, патриот, который всегда предпочитал величие и могущество своего отечества его благополучию и свободе, — Мадзини был всегда яростным противником автономии провинций, которая естественно нарушала бы строгое единообразие великого итальянского государства. Он утверждает, что для противовеса могуществу прочно устроенной республики достаточна автономия коммун. Он ошибается: ни одна коммуна, взятая в отдельности, не сможет противостоять могуществу столь сильной централизации, она будет ею раздавлена. Чтобы не пасть в этой борьбе, она должна была бы для общей самозащиты вступить в федерацию с соседними коммунами, т. е. она должна была бы образовать вместе с ними автономную провинцию. Кроме того, раз провинции не будут автономны, управлять ими надо будет ставленникам государства. Нет середины между строго последовательным федерализмом и бюрократическим режимом. Отсюда вытекает, что республика, к которой стремится Мадзини, была бы государством бюрократическим и, следовательно, военным, основанным в целях внешнего могущества, а не международной справедливости и внутренней свободы. В 1793 году, при режиме Террора, коммуны Франции были признаны автономными, что не помешало им быть раздавленными революционным деспотизмом Конвента или, лучше сказать, Парижской Коммуны, естественным наследником которой явился Наполеон.

ских, стратегических и торговых границах должны отныне считаться принадлежащими к древней истории и решительно отвергаться всеми приверженцами Лиги.

7) Признание абсолютного права каждой нации, большой или малой, каждого народа, слабого или сильного, каждой провинции, каждой коммуны на полную автономию при одном лишь условии, чтобы их внутреннее устройство не являлось угрозой и не представляло опасности для автономии и свободы соседних земель.

8) Если страна вошла в состав какого-либо государства, даже если она присоединилась добровольно, отсюда никак не следует, что она обязана оставаться в его составе всегда. Никакое вечное обязательство не может быть допущено человеческой справедливостью, единственной, с которой мы считаемся, и мы никогда не признаем иных прав или иных обязанностей, кроме тех, которые основаны на свободе. Право свободного присоединения, и равно свободного отделения, есть первое и самое важное из всех политических прав, без которого конфедерация всегда будет лишь замаскированной централизацией.

9) Из всего вышеизложенного следует, что Лига должна открыто осудить всякий союз той или иной национальной фракции европейской демократии с монархическими государствами, даже если бы этот союз имел целью вернуть независимость или свободу угнетенной стране: такой союз, могущий привести лишь к разочарованиям, был бы в то же время изменой делу революции.

10) В противоположность этому Лига, именно потому, что она Лига мира, и именно потому, что она убеждена, что мир не может быть завоеван и основан иначе, как на самой тесной и полной солидарности народов на началах справедливости и свободы, должна громко выразить свое сочувствие всякому народному бунту против любого угнетения, внешнего или внутреннего, лишь бы это был бунт во имя наших принципов и в политических и экономических интересах народных масс, а не амбициозное намерение основать могущественное Государство.

11) Лига будет вести беспощадную войну со всем, что называется славой, величием и могуществом государств. Всем этим ложным и вредоносным идолам, которым были принесены в жертву миллионы людей, мы противопоставим славу человеческого разума, проявляю-

щегося в науке, и всеобщего процветания, основанного на труде, справедливости и свободе.

12) Лига признает *национальность* как естественный факт, имеющий бесспорное право на свободное существование и свободное развитие, но не как принцип, ибо всякий принцип должен обладать всеобщностью, а национальность — это лишь отдельный, исключительный факт. Так называемый *принцип национальности*, каким он представляется в наши дни правительствами Франции, России и Пруссии и даже многими немецкими, польскими, итальянскими и венгерскими патриотами, является лишь отвлекающим средством, которое реакция противопоставляет духу революции: принцип в высшей степени аристократический по своей сущности, вплоть до презрения к диалектам народов, не имеющих своей письменности, молчаливо отрицающий свободу провинций и реальную автономию коммун и поддерживаемый во всех странах не народными массами, чьими реальными интересами он систематически жертвует ради так называемого общего блага, которое всегда является лишь благом привилегированных классов, — этот принцип не выражает ничего другого, кроме пресловутых исторических прав и амбиций государств. Итак, право национальности всегда будет рассматриваться Лигой лишь как естественное следствие высшего принципа свободы, и оно перестанет быть правом как только окажется или против свободы, или даже просто вне свободы.

13) Единство есть цель, к которой непреодолимо стремится человечество. Но единство становится фатальным, разрушает просвещение, достоинство и процветание индивидуумов и народов всякий раз, как оно образуется вне свободы, или путем насилия, или под воздействием какой-либо теологической, метафизической, политической или даже экономической идеи. Патриотизм, стремящийся к единству помимо свободы, — это плохой патриотизм. Он всегда причиняет вред интересам народа и подлинным интересам страны, которую он якобы хочет возвысить и которой хочет служить, будучи, зачастую помимо воли, другом реакции и врагом революции, т. е. освобождения народов и людей. Лига может признать лишь одно единство: то, которое свободно образуется через федерацию автономных частей в одно целое, с тем чтобы это последнее, не будучи больше отрицанием частных прав и интересов, кладбищем, где насильственно хоро-

нят всякое местное процветание, стало, напротив, подтверждением и источником всякой автономии и процветания. Итак, Лига будет всеми силами бороться против всякой религиозной, политической, экономической и общественной организации, которая не будет всецело проникнута этим великим принципом свободы: без него нет ни просвещения, ни справедливости, ни процветания, ни человечности.

Таковы, господа, по нашему и, без сомнения, также по вашему мнению, необходимое содержание и необходимые следствия великого принципа Федерализма, открыто провозглашенного Женевским конгрессом. Таковы непреложные условия мира и свободы.

Непреложные — да, но единственные ли? — Не думаем.

Штаты Юга в великой республиканской конфедерации Северной Америки были с момента провозглашения независимости республиканских Штатов преимущественно демократичными* и федералистскими, вплоть до желания отделиться. И все же они в последнее время вызвали осуждение защитников свободы и человечности во всем мире и своей несправедливой и святотатственной войной против республиканских Штатов Севера чуть было не разрушили и не уничтожили самую прекрасную политическую организацию из всех, когда-либо существовавших в истории. В чем причина такого странного факта? Была ли эта причина политической? Нет, она всецело *социальная*. Внутреннее политическое устройство Южных Штатов было даже во многих отношениях более совершенным, являло собой большую свободу, чем устройство Северных Штатов. Только в этом устройстве было одно черное пятно, как и в республиках древнего мира: свобода граждан была основана на насильственном труде рабов. Этого черного пятна было достаточно, чтобы прекратить всякое политическое существование этих Штатов.

Граждане и рабы — таков был антагонизм древнего мира, как и рабовладельческих государств нового мира. Граждане и рабы, т.е. принужденные работники, рабы если не по праву, то на деле, — вот антагонизм современного мира. Подобно тому как древние государ-

* Как известно, в Америке приверженцы интересов Юга против Севера, т.е. рабства против освобождения рабов, называют себя демократами.

ства погибли от рабства, так и современные государства погибнут от пролетариата.

Напрасны старания утешиться мыслью, что это антагонизм скорее фиктивный, чем действительный, или что невозможно провести линию раздела между имущими и неимущими классами, так как эти классы переходят один в другой посредством множества промежуточных и неуловимых оттенков. В естественном мире также не существует линии раздела; так, например, в восходящем ряду существ невозможно указать точку, где кончается растительное и начинается животное царство, где кончается животное царство и начинается человечество. Тем не менее, существует вполне реальное различие между растением и животным, между животным и человеком. Так же точно в человеческом обществе, несмотря на промежуточные звенья, делающие незаметными переход от одного политического и социального положения к другому, различие между классами вполне определено, и всякий сумеет различить дворянскую аристократию от финансовой аристократии, крупную буржуазию от мелкой буржуазии, а эту последнюю от фабричных и городских пролетариев; так же точно, как крупного землевладельца, рантье, крестьянина-собственника, собственноручно обрабатывающего землю, фермера от простого деревенского пролетария.

Все эти различные политические и социальные реалии — сводятся в настоящее время к двум диаметрально противоположным основным категориям, естественным врагам друг для друга: *политические** классы, состоящие из лиц, имеющих привилегии в отношении как земли, так и капитала, или даже только буржуазного образования**, и *рабочие классы*, обделенные как капиталом, так и землей, и лишенные всякого образования и воспитания.

Надо быть софистом или слепым, чтобы отрицать пропасть, разделяющую эти два класса. Подобно древнему миру, наша современная цивилизация с сравнительно небольшим числом привилегиро-

* Привилегированные? .

** Даже за неимением имущества это буржуазное образование при той солидарности, которая связывает всех членов буржуазного мира, обеспечивает получившему его громадную привилегию в вознаграждении за труд — ибо труд самого посредственного буржуа оплачивается в три, в четыре раза дороже, чем труд самого умного рабочего.

ванных граждан основана на принудительном труде (к которому по-нуждает голод) громадного большинства населения, обреченного на невежество и грубость.

Напрасны также старания уверить себя, что эту пропасть можно уничтожить простым распространением просвещения в народных массах. Прекрасное дело основывать народные школы, но надо спросить себя, может ли человек из народа, перебивающийся изо дня в день и кормящий свою семью работой своих рук, лишенный сам образования и досуга и вынужденный убивать и отуплять себя работой, чтобы обеспечить свою семью хлебом на завтрашний день, — надо спросить себя, может ли такой человек хотя бы помышлять, желать, не говоря уж о том, чтобы иметь возможность, отправить своих детей в школу и содержать их во время обучения. Не будет ли он нуждаться в помощи их слабых рук, их детского труда, чтобы обеспечить все потребности семьи? Достаточно много будет и того, что он пойдет на жертву и отдаст детей в школу на год или на два, с трудом выкраивая им время, чтобы они могли научиться читать, писать, считать, с тем, чтобы их ум и сердце были отравлены христианским катехизисом, который умело и щедро преподносится в официальных народных школах всех стран. Сможет ли когда-нибудь это жалкое образование поднять рабочие массы до уровня буржуазного образования? Будет ли когда-нибудь заполнена пропасть?

Очевидно, что этот столь важный вопрос народного образования и воспитания зависит от решения другого, гораздо более трудного вопроса о коренном изменении нынешних экономических условий рабочих классов. — Возвысьте условия труда, отдайте труду все, что по справедливости ему принадлежит, и тем самым предоставьте народу спокойную уверенность, достаток, досуг, и тогда, поверьте, он займется своим образованием и создаст цивилизацию более широкую, здоровую, более возвышенную, чем ваша.

Напрасны и старания убедить себя вслед за экономистами, что улучшение экономического положения рабочих классов зависит от общего прогресса промышленности и торговли в каждой стране и от их полного освобождения от опеки и покровительства государств. Свобода промышленности и торговли — это, конечно, великая вещь, одна из главных основ международного союза всех народов мира. Сторонники свободы, всякой свободы, мы должны быть сторонника-

ми и этой. Но, с другой стороны, мы должны признать, что покуда будут существовать современные государства, покуда труд будет рабом собственности и капитала, эта свобода, обогащая ничтожную горстку буржуа в ущерб огромному большинству населения, приведет лишь к одному: еще больше расслабит и развратит малое число привилегированных, увеличит нищету, недовольство и справедливое возмущение рабочих масс и тем самым приблизит час разрушения государств.

Англия, Бельгия, Франция и Германия являются, несомненно, теми европейскими странами, где торговля и промышленность пользуются сравнительно большей свободой и которые достигли самой высокой степени развития. И это именно те самые страны, где пауперизм чувствуется наиболее жестоким образом, где пропасть между собственниками и капиталистами, с одной стороны, и рабочими классами — с другой, увеличилась как ни в одной другой стране. В России, в скандинавских странах, в Италии, в Испании, где торговля и промышленность мало развиты, люди редко умирают от голода, разве только по случаю какого-либо необычайного бедствия. В Англии смерть от голода обычное явление. От голода умирают не единицы, а тысячи, десятки, сотни тысяч людей. Не очевидно ли, что при том экономическом положении, которое царит в настоящее время во всем цивилизованном мире, — свобода и развитие торговли и промышленности, удивительные приложения науки к производству и даже сами машины, имеющие целью освободить работника, облегчая труд человека, — что все эти изобретения, весь этот прогресс, которым справедливо гордится цивилизованный человек, нисколько не улучшают положение рабочих классов, а наоборот, ухудшают его и делают еще более невыносимым.

Только Северная Америка является в значительной степени исключением из этого правила. Но это исключение не опровергает правило, а подтверждает его. Если рабочие там лучше оплачиваются, чем в Европе, если никто там не умирает от голода, если в то же время классовый антагонизм там еще почти не существует, если все трудящиеся — граждане и если вся масса граждан составляет именно единое целое, наконец, если хорошее начальное и даже среднее образование широко распространено там в массах, то все это следует в значительной мере приписать, конечно, тому традиционному духу

свободы, который первые колонисты принесли из Англии: рожденному, испытанному, окрепшему в великой религиозной борьбе, этому принципу индивидуальной независимости и самоуправления коммун и провинций — *self-government*¹³³ способствовало еще то редкое обстоятельство, что, перенесенный на неосвоенные земли, он был свободен от духовного гнета прошлого и мог, таким образом, создать новый мир, мир свободы. А свобода — это великая волшебница, она наделена такой удивительной творческой силой, что, вдохновляемая ею одной, Северная Америка менее чем в столетие смогла достичь, а ныне и превзойти цивилизацию Европы. Но не надо обманываться: этот удивительный прогресс и столь завидное благополучие обязаны своим существованием в огромной мере важному преимуществу, которое имеет Америка, равно как и Россия: мы хотим сказать о громадных просторах плодородной земли, которая остается необработанной за недостатком рабочих рук. По крайней мере до сих пор это великое пространственное богатство было почти бесполезно для России, ибо мы никогда не обладали свободой. Иначе обстояло дело в Северной Америке, которая благодаря свободе, подобной которой не существует больше нигде, привлекает каждый год сотни тысяч энергичных, трудолюбивых и умных колонистов и благодаря этому богатству может их принять в свое лоно. Тем самым одновременно отодвигается проблема пауперизма и момент постановки социального вопроса: рабочий, не находящий работы или недовольный заработком, который ему предоставляет капитал, всегда может, в крайности, эмигрировать на *far west*¹³⁴, чтобы возделывать там какую-нибудь дикую незанятую землю.

Эта возможность, всегда, за неимением лучшего, открытая для всех американских рабочих, естественно поддерживает там заработную плату на достаточной высоте и предоставляет каждому независимость, какой не знает Европа. Таково преимущество, но вот и недостаток: дешевизна промышленных продуктов зависит главным образом от дешевизны труда, и поэтому американские фабриканты в большинстве случаев не в состоянии конкурировать с европейскими фабрикантами; отсюда вытекает необходимость протекционистского тарифа для промышленности Северных Штатов. Но это привело в первую очередь к созданию массы искусственных производств и в особенности к притеснению и разорению непромышленных Южных

Штатов, что заставило их стремиться к отделению; к скоплению, наконец, в таких городах, как Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон и многих других массы рабочих пролетариев, которые постепенно начинают попадать в положение, аналогичное положению рабочих в крупных промышленных государствах Европы. — И мы действительно видим, что социальный вопрос выдвигается в Штатах Севера, подобно тому как он встал много раньше у нас.

Итак, мы вынуждены признать как общее правило, что в нашем современном мире, если и не так всецело, как в древнем мире, цивилизация малого числа основана на принудительном труде и относительном варварстве громадного большинства. Было бы несправедливо сказать, что этот привилегированный класс чужд труда; напротив, в наши дни его члены много работают, число совершенно бездельных заметно уменьшается, труд начинают уважать в этой среде; ибо наиболее благополучные понимают сегодня, что для того, чтобы быть на уровне современной цивилизации, для того хотя бы, чтобы быть в состоянии пользоваться своими привилегиями и сохранить их, надо много трудиться. Но между трудом зажиточных и рабочих классов та разница, что труд первых оплачивается в значительно большей пропорции, чем труд вторых, и потому оставляет привилегированным *досуг*, это наивысшее условие развития человека, как интеллектуального, так и нравственного, условие, никогда не существовавшее для рабочих классов. Кроме того, труд, которым занимаются в мире привилегированных, почти исключительно *умственный*, то есть работа воображения, памяти и мысли; между тем как труд миллионов пролетариев — это труд *физический* и зачастую, как, например, на всех фабриках, это труд, включающий в работу не всю мускульную систему человека, а развивающий лишь какую-нибудь часть ее в ущерб всем остальным, труд, совершаемый обычно в условиях, вредных для здоровья тела и препятствующих его гармоничному развитию. В этом отношении земледelec гораздо более благополучен: его натура, не испорченная душной и зачастую отравленной атмосферой заводов и фабрик, не изуродованная аномальным развитием одной какой-нибудь способности во вред другим, остается более сильной, более цельной, но зато его ум — почти всегда более отсталым, неповоротливым и гораздо менее развитым, чем ум фабричных и городских рабочих.

Итак, ремесленники, заводские рабочие и земледельцы образуют вместе одну и ту же категорию, категорию *физического труда*, противопоставляемую привилегированным представителям *умственного труда*. Каковы следствия этого не фиктивного, а вполне реального разделения, составляющего самую основу современного как политического, так и социального положения?

Для привилегированных представителей *умственного труда*, которые, скажем мимоходом, при нынешней организации общества призваны быть его представителями, не потому, что они самые умные, но единственно потому, что родились в привилегированном классе, — для них все блага, но также и все губительные соблазны современной цивилизации: богатство, роскошь, комфорт, благосостояние, семейные радости, исключительная политическая свобода вместе с возможностью эксплуатировать труд миллионов рабочих и управлять ими по своей воле и в своих интересах, все изобретения, все изощрения воображения и мысли... и, вместе с возможностью стать цельными людьми, все язвы человечества, испорченно-го привилегиями.

Что остается представителям *физического труда*, этим бесчисленным миллионам пролетариев или даже мелким земельным собственникам? Безысходная нужда, отсутствие даже семейных радостей, ибо семья для бедного вскоре становится обузой, невежество, дикость и, мы бы сказали, вынужденное почти животное состояние, с тем утешением, что они служат пьедесталом для цивилизации, свободы и разложения немногих. Но зато они сохранили свежесть ума и сердца. Воспитанные трудом, хотя бы и принудительным, они сохранили чувство справедливости, много более правильной, чем справедливость юрисконсультов и кодексов; сами несчастные, они сочувствуют всякому несчастью, они сохранили здравый смысл, не испорченный софизмами доктринерской науки и обманами политики, и, так как они еще не злоупотребили и даже не воспользовались жизнью, они имеют веру в жизнь.

Но, скажут нам, этот контраст, эта пропасть между малым числом привилегированных и огромным количеством обездоленных всегда существовала и теперь существует: так что же изменилось? Изменилось то, что прежде эта пропасть была заполнена религиозным туманом, так что народные массы ее не видели, а теперь, после

того как Великая Революция¹³⁵ начала рассеивать этот туман, они тоже начинают видеть пропасть и спрашивать о ее причине. Значение этого безмерно.

С тех пор как Революция ниспослала в массы свое Евангелие, не мистическое, а рациональное, не небесное, а земное, не божественное, а человеческое, — свое Евангелие прав человека¹³⁶; с тех пор как она провозгласила, что все люди равны, что все одинаково призваны к свободе и человечности, народные массы всей Европы, всего мира начинают мало-помалу пробуждаться ото сна, который их сковывал с тех пор, как христианство усыпило их своими маковыми цветами, и начинают спрашивать себя, не имеют ли они тоже права на равенство, свободу и человечность.

Как только этот вопрос был поставлен, народ, как в силу своего удивительного здравого смысла, так и инстинкта, понял, что первым условием его действительного освобождения, или, если вы мне позволите это слово, его *очеловечения*, является коренная реформа экономических условий. Вопрос о хлебе правомерно является для него первым вопросом, ибо еще Аристотель¹³⁷ заметил: человек, чтобы мыслить, чтобы чувствовать свободно, чтобы сделаться человеком, должен быть свободен от забот материальной жизни. Впрочем, буржуа, громко выступающие против материализма народа и призывающие его к идеалистическому воздержанию, знают это очень хорошо, ибо они проповедуют на словах, а не на примере. Второй вопрос для народа — это досуг после работы, условие *sine qua non*¹³⁸ человечности; но хлеб и досуг не могут быть им получены иначе как путем радикального преобразования современного устройства общества, и это объясняет, почему Революция как логическое следствие своего собственного принципа породила социализм.

II. СОЦИАЛИЗМ

Французская Революция, провозгласив право и обязанность каждого человеческого индивидуума сделаться человеком, пришла в своих последних выводах к бабувизму¹³⁹. Бабёф¹⁴⁰ — один из последних энергичных и безупречных граждан, созданных Революцией, а затем уничтоженных ею в таком количестве, — которому посчастливилось иметь в числе своих друзей таких людей, как Буонарроти¹⁴¹,

соединил в своей неповторимой концепции политические традиции своего древнего отечества с новейшими идеями социальной революции. Видя, что Революция угасает за недостатком коренного преобразования, впрочем, по всей вероятности, и невозможного при экономической структуре того общества, верный, с другой стороны, духу этой Революции, которая завершилась заменой всякой личной инициативы всемогущим действием Государства, он измыслил политическую и социальную систему, согласно которой республика, выражающая собой коллективную волю граждан, должна была конфисковать всякую личную собственность и управлять ею в интересах всех, наделяя каждого в равной мере воспитанием, образованием, средствами к существованию, развлечениями и принуждая всех без исключения, по мере сил и способностей каждого, к физическому и умственному труду. Заговор Бабёфа не удался, он был гильотинирован вместе с несколькими друзьями. Но его идеал социалистической республики с ним не умер. Подхваченная его другом Буонарроти, величайшим конспиратором века, эта идея как священное сокровище была передана им новым поколениям; и благодаря тайным обществам, основанным Буонарроти в Бельгии и Франции, коммунистические идеи зародились в воображении народа. Они нашли с 1830 по 1848 год талантливых выразителей в лице Кабе¹⁴² и Луи Блана¹⁴³, которые создали в окончательном виде *революционный социализм*. Другое социалистическое течение, исходящее из того же революционного источника, стремящееся к той же цели, но совершенно иными средствами, — течение, которое мы бы охотно назвали *доктринерским социализмом*, было основано двумя замечательными людьми: Сен-Симоном¹⁴⁴ и Фурье¹⁴⁵. Сен-симонизм был истолкован, развит, переработан и утвержден в виде чуть ли не обрядовой системы, своего рода церкви, отцом Анфантенном¹⁴⁶ вместе со многими друзьями, из которых большая часть стала ныне финансистами и государственными людьми, чрезвычайно преданными Империи. Фурьеризм нашел своего интерпретатора в *«Мирной демократии»*, издававшейся до 2 декабря г. Виктором Консидераном¹⁴⁷.

Заслуга этих двух социалистических систем, впрочем, во многих отношениях различных, заключается главным образом в глубокой, научной, строгой критике современного устройства общества, чьи чудовищные противоречия они смело раскрыли; затем в том важном

факте, что эти системы яростно нападали на христианство и расшатывали его во имя восстановления в своих правах материи и человеческих страстей, оклеветанных и в то же время так хорошо практикуемых христианскими священниками. Сен-симонисты хотели заменить христианство новой религией, в основе которой был мистический культ плоти, с новой иерархией священников, новых эксплуататоров толпы своей привилегией гения, способностей и таланта. Фурьеристы, куда большие и, можно сказать, даже искренние демократы, придумали свои фаланстеры, управляемые избранными всеобщим голосованием руководителями, фаланстеры, где каждый сам себе, по мысли фурьеристов, нашел бы работу и место в соответствии с природой его страстей. Ошибки сен-симонистов слишком очевидны, чтобы стоило о них говорить. Двойная неправота фурьеристов заключалась, во-первых, в том, что они искренне верили, что единственно силой убеждения и мирной пропагандой они сумеют до такой степени тронуть сердца богатых, что те в конце концов сами придут сложить у порога фаланстера излишек своих богатств; во-вторых, в том, что они вообразили, что можно теоретически, а priori построить социальный рай, в котором разместится будущее человечество. Они не поняли, что мы можем провозглашать какие угодно великие принципы его грядущего развития, но мы должны оставить опыту будущего практическую реализацию этих принципов.

Вообще, все социалисты, за исключением одного, до 1848 года питали общую страсть к регламентации. Кабе, Луи Блан, фурьеристы, сен-симонисты — все были одержимы страстью поучать и устраивать будущее, все были более или менее *авторитарными*.

Но вот явился Прудон¹⁴⁸, сын крестьянина, в сто раз больший революционер и в делах, и по инстинкту, чем все эти доктринерские буржуазные социалисты; он вооружился критикой столь же глубокой и пронизательной, сколь неумолимой, чтобы уничтожить все их системы. Противопоставив свободу авторитету, он в противоположность этим государственным социалистам смело провозгласил себя анархистом и имел мужество бросить в лицо их деизму или пантеизму заявление, что он просто атеист или, точнее, *позитивист*, подобно Огюсту Конту¹⁴⁹.

Социализм Прудона, основанный как на индивидуальной, так и на коллективной свободе и на спонтанной деятельности свободных

ассоциаций, не подчиненный другим законам, кроме как общим законам социальной экономии; законам, которые открыты или которые еще предстоит открыть науке; социализм, стоящий вне всякой правительственной регламентации и всякого покровительства со стороны государства и подчиняющий политику экономическим, интеллектуальным и моральным интересам общества, *должен был* с течением времени прийти, в силу необходимой последовательности, к федерализму.

Таково было положение социальной науки до 1848 г. Poleмика в газетах, листках и социалистических брошюрах привнесла массу новых идей в рабочие классы; они были ими насыщены, и, когда разразилась революция 1848 года, социализм заявил о себе как мощная сила.

Как мы сказали, социализм был последним детищем Великой Революции; но до его рождения она произвела на свет своего более прямого наследника, своего старшего сына, любимца Робеспьеров¹⁵⁰ и Сен-Жюстов¹⁵¹: *чистый республиканизм*, без примеси социалистических идей, перенесенный из античного мира и вдохновляемый героическими традициями великих граждан Греции и Рима. Гораздо менее человечный, чем социализм, этот республиканизм почти не принимает в расчет человека, а признает лишь гражданина; если социализм стремится основать *республику людей*, то республиканизм желает лишь *республику граждан*, хотя бы они, как это было при конституциях¹⁵², явившихся естественным и необходимым следствием конституции 1793 года (раз уж эта конституция после недолгого колебания сознательно не затронула социального вопроса), — хотя бы они в качестве *активных граждан* (если воспользоваться выражением Учредительного собрания¹⁵³) основывали свое благополучие на эксплуатации труда *пассивных граждан*. Впрочем, политический республиканец сам по себе не является, или по крайней мере ему не полагается быть, эгоистом лично для себя, но он должен им быть для отечества, которое он должен ставить в своем свободном сердце выше себя самого, выше всех индивидуумов, выше всех наций в мире, выше всего человечества. Следовательно, он будет всегда игнорировать международную справедливость; во всех спорах, будет ли его отечество право или нет, он будет становиться на его сторону, он будет желать, чтобы оно всегда имело верх и подавляло другие на-

роды своим могуществом и славой. Он делается по естественной склонности завоевателем, несмотря на опыт веков, показывающий ему, что военные победы неизбежно должны привести к цезаризму. Республиканец-социалист ненавидит величие, могущество и военную славу государства, он предпочитает им свободу и благоденствие. Федералист во внутренней политике, он стремится и к международной конфедерации прежде всего из чувства справедливости, а также из убеждения, что экономическая и социальная революция может осуществиться, переступив искусственные и пагубные границы государств, лишь при совместных действиях если не всех, то, по крайней мере, большей части наций, составляющих ныне цивилизованный мир, и что все нации рано или поздно должны будут к ним присоединиться. Исключительно политический республиканец — это стоик; он не признает для себя прав, а только обязанности, или, как в республике Мадзини¹⁵⁴, он признает лишь одно право: право быть самоотверженным и жертвовать собой для отечества, жить лишь для служения ему и с радостью умереть за него, как говорится в песне, которой г. Александр Дюма¹⁵⁵ слишком щедро одарил жирондистов¹⁵⁶. «Умереть за отечество — это самый прекрасный, самый завидный жребий»¹⁵⁷. Социалист, напротив, опирается на свое позитивное право на жизнь и на все как интеллектуальные и моральные, так и физические жизненные наслаждения. Он любит жизнь, он хочет полностью ею насладиться. Так как его убеждения составляют часть его самого и его обязанности по отношению к обществу неразрывно связаны с его правами, то, оставаясь верным тем и другим, он сумеет жить, следуя справедливости, как Прудон, и, если нужно, умереть, как Бабёф; но он никогда не скажет, что жизнь человечества должна быть принесена в жертву и что смерть является самым сладким жребием. Для политического республиканца свобода лишь пустой звук; это свобода быть добровольным рабом, преданной жертвой государства; готовый всегда пожертвовать ради него собственной свободой, он легко жертвует и свободой других. Итак, политический республиканизм обязательно приведет к деспотизму. Но для республиканца-социалиста свобода, соединенная с благоденствием и создающая всеобщую человечность посредством человечности каждого, это все, между тем как Государство является в его глазах лишь инструментом, служителем благоденствия и свободы каждого. Социалист отличается

от буржуа *справедливостью*, ибо он требует для себя лишь действительный плод своего собственного труда; от чистого республиканца он отличается своим *искренним и человеческим эгоизмом*, живя открыто и без громких фраз для самого себя; он знает, что, поступая *по справедливости*, он служит всему обществу, а служа всему обществу, служит самому себе. Республиканец суров и часто — от патриотизма, как священник — из-за религии, — жесток. Социалист естествен, умеренно патриотичен, но зато всегда очень человечен. Одним словом, республиканца-социалиста и политического республиканца разделяет пропасть: один, *полурелигиозное* существо, относится к прошлому; другой, *позитивист или атеист*, принадлежит будущему.

Эта противоположность проявилась в полной мере в 1848 году. С первых часов революции республиканцы и социалисты не смогли прийти ни к какому соглашению: их идеалы, все их инстинкты влекли их в диаметрально противоположные стороны. Все время от февраля до июня¹⁵⁸ прошло в перестрелке; вызвав междоусобную войну в лагере революционеров и парализуя их силы, это естественно должно было склонить чашу весов на сторону выросшей до громадных размеров коалиции реакционеров всех оттенков, которые, гонимые страхом, объединились и образовали единую партию. В июне к ним присоединились и республиканцы, чтобы раздавить социалистов. Они полагали, что одержали победу, а на самом деле столкнули в бездну свою дорогую республику. Генерал Кавеньяк¹⁵⁹, знаменосец контрреволюции, был предвестником Наполеона III¹⁶⁰. Тогда это понимали все, если не во Франции, то всюду за ее пределами, ибо эта пагубная победа республиканцев над парижскими рабочими была отпразднована как великое торжество всеми дворами Европы, и офицеры прусской гвардии, с генералами во главе, поспешили отправить адрес с братскими поздравлениями генералу Кавеньяку.

Напуганная красным призраком, европейская буржуазия впала в полное раболепство. По природе своей она либеральна и фрондерски настроена, и потому ей не нравится военный режим, но она выбрала его перед лицом опасности народного освобождения. Пожертвовав своим достоинством и всеми своими славными завоеваниями XVIII-го и начала этого века, она полагала, по крайней мере, что покупает мир и спокойствие, необходимые для успеха ее торго-

вых и промышленных предприятий: «Мы приносим вам в жертву свою свободу, — как бы говорила она власти военных, вновь поднявшейся из руин третьей революции, — взамен предоставьте нам возможность спокойно эксплуатировать народные массы и защитите нас от их притязаний, которые могут казаться справедливыми в теории, но которые ненавистны нам с точки зрения наших интересов». Буржуазии обещали все и даже сдержали данное ей слово. Почему же буржуазия, вся европейская буржуазия в настоящее время недовольна?

Она не рассчитала, что военный режим дорого стоит, что уже в силу своей внутренней организации он парализует, беспокоит, разоряет нации и что, более того, верный свойственной ему логике, которой он никогда не изменял, он имеет неизбежным последствием *войну*, войны династические, войны ради славы, войны завоевательные или территориальные, войны ради равновесия — постоянное уничтожение и поглощение одних государств другими, реки человеческой крови, сожжение деревень, разорение городов, опустошение целых провинций — и все это, чтобы удовлетворить честолюбие царствующих лиц и их фаворитов, чтобы их обогащать, чтобы подчинить, держать в повиновении народы и войти в историю.

Теперь буржуазия понимает это, и потому она недовольна режимом¹⁶¹, установлению которого она так сильно способствовала. Он ей надоел; но чем она его заменит?

Конституционная монархия отжила свое время, да она никогда и не пользовалась особым успехом на европейском континенте; даже в Англии, этой исторической колыбели современного конституционализма, ныне под сокрушительными ударами поднимающейся демократии она поколеблена, она шатается и вскоре будет уже не в состоянии сдерживать волну народных страстей и требований.

Республика? Но какая республика? Только политическая, или демократическая и социальная? Имеют ли еще народы социалистические настроения? Да, более чем когда-либо.

В 1848 году погиб не социализм вообще, а только *государственный социализм*, тот авторитарный и регламентированный социализм, который верил и надеялся, что Государство сможет полностью удовлетворить потребности и законные стремления рабочих классов, что, достигнув всемогущества, оно захочет и будет в состоянии

положить начало новому общественному порядку. Итак, не социализм умер в июне, а Государство объявило себя банкротом перед социализмом и, признав себя неспособным заплатить ему долг и тем самым выполнить заключенный с ним договор, оно попробовало его убить, чтобы самым легким образом освободиться от этого долга. Убить его не удалось, но Государство убило веру, которую социализм в него питал, и тем самым уничтожило все теории авторитарного или доктринерского социализма, из которых одни, как «Икария» Кабе или «Организация труда» г. Луи Блана, советовали народу во всем положиться на Государство, а другие продемонстрировали свою бездейственность рядом смехотворных опытов. Даже банк Прудона, который при более счастливом стечении обстоятельств мог бы процветать, потерпел крах, раздавленный буржуазией, проявлявшей к нему неприязнь и враждебность¹⁶².

Социализм проиграл это первое сражение по очень простой причине: он был полон стремлений и отрицательных теоретических идей, тысячекратно обосновывавших его борьбу против привилегий, но у него совсем не было положительных, практических идей, необходимых для того, чтобы на развалинах буржуазной системы построить новую систему, систему народной справедливости. Рабочие, сражавшиеся в июне за освобождение народа, были объединены инстинктом, а не идеями. Те неясные идеи, которые они имели, являли собой Вавилонскую башню¹⁶³, хаос, из которого ничего не могло выйти. Такова была главная причина их поражения. Надо ли из-за этого сомневаться в будущем и в действительной силе социализма? Христианству, поставившему своей целью основание царства справедливости на небе, нужно было несколько столетий, чтобы одержать победу в Европе. Нужно ли удивляться, что социализм, поставивший перед собой гораздо более трудную задачу — основание царства справедливости на земле, не одержал победу в течение нескольких лет? <...>.

За немногими исключениями, все народы Европы, некоторые даже не зная слова «социализм», являются сегодня социалистическими; они не признают другого знамени, кроме того, которое им возвещает прежде всего их экономическое освобождение, и в тысячу раз охотнее отступились бы от всякого другого вопроса, но не от этого. Следовательно, только через социализм можно вовлечь их в политику, в настоящую политику <...>.

Та страсть, которая крушит препятствия и творит новые миры, есть только у народа. Итак, инициатива нового движения бесспорно будет принадлежать народу. И мы бы умолчали о народе? и мы бы ничего не сказали о социализме, новой религии народа?

Но, скажут нам, социализм проявляет склонность к союзу с цезаризмом. Во-первых, это клевета; напротив, именно цезаризм, видя на горизонте появление грозной силы социализма, стремится завоевать его симпатии, чтобы эксплуатировать их на свой манер. Но не является ли это для нас лишней причиной устремить сюда свою энергию, чтобы не допустить этого чудовищного союза, плодом которого явилось бы, конечно, самое большое бедствие, угрожающее свободе мира?

Мы должны заняться этим, даже и не принимая в расчет всех практических мотивов, ибо социализм — это *справедливость*. Говоря о справедливости, мы подразумеваем не ту, которая заключена в кодексах и в римской юриспруденции, основанных в громадной степени на фактах насилия, силою же внедренных, освященных временем и благословением какой-либо, христианской или языческой, церкви и признанных т. о. за абсолютные принципы, из которых логически следует все остальное*, — мы говорим о справедливости, основывающейся единственно на сознании людей, на справедливости, которую вы найдете у каждого человека и даже в сознании детей и суть которой передается одним словом: *равенство*.

Эта всеобщая справедливость, которая, однако, благодаря насильственным захватам и религиозным влияниям никогда еще не имела перевеса ни в политическом, ни в юридическом, ни в экономическом мире, должна послужить основанием нового мира. Без нее нет ни свободы, ни республики, ни благоденствия, ни мира! Итак, мы должны руководствоваться ею во всех наших решениях, дабы мы могли деятельно способствовать установлению мира.

Эта справедливость повелевает нам взять в свои руки дело народа, с которым до сих пор столь ужасно обращались, и потребовать для

* В этом отношении юридическая наука подобна теологии: одна исходит из реального, но несправедливого факта присвоения силой, завоевания; другая — из факта фиктивного и нелепого, божественного откровения как высшего принципа. Основываясь на этой абсурдности или на этой несправедливости, обе науки прибегают к самой строгой логике, чтобы построить, с одной стороны, теологическую, с другой — юридическую систему.

него вместе с политической свободой также экономическое и социальное освобождение.

Мы не предлагаем вам, господа, ту или иную социалистическую систему. Мы призываем вас снова провозгласить великий принцип Французской Революции: каждый человек должен иметь материальные и нравственные средства для развития всей своей человечности. Принцип этот, по нашему мнению, выражается в следующей проблеме.

Организовать общество таким образом, чтобы каждый индивидуум, мужчина или женщина, появляясь на свет, имел бы приблизительно равные возможности для развития различных способностей и для их применения в своей работе, создать такое устройство общества, которое сделало бы невозможным для всякого индивидуума, кто бы он ни был, эксплуатировать чужой труд и позволяло бы ему пользоваться общественным богатством, являющимся, в сущности, продуктом человеческого труда лишь в той мере, в какой он своим трудом непосредственно способствовал его созданию.

Полное осуществление этой задачи будет, конечно, делом столетий. Но история ее выдвинула, и отныне мы не можем оставлять ее без внимания, не обрекая себя на полное бессилие.

Добавим сразу, что мы решительно отклоняем всякую попытку социальной организации, которая, будучи далекой от самой полной свободы как индивидов, так и ассоциаций, требовала бы какого-нибудь регламентирующего авторитета. Во имя свободы, которую мы признаем как единственную основу и единственный законный творческий принцип всякой организации, мы всегда будем протестовать против всего, что хоть сколько-нибудь будет похоже на государственный социализм и коммунизм.

Единственное, что, по нашему мнению, может и должно сделать государство, это начать с постепенного изменения права наследования, с тем чтобы по мере возможности упразднить его полностью. Право наследования, будучи всецело созданием государства, одним из основных условий самого существования авторитарного и божественного государства, может и должно быть уничтожено свободой в государстве; другими словами, государство должно раствориться в обществе, свободно организованном на началах справедливости. Это право, по нашему мнению, необходимо упразднить, ибо, пока суще-

ствуется наследование, будет существовать наследственное экономическое неравенство — не естественное неравенство индивидуумов, а искусственное неравенство классов; а оно всегда будет непременно порождать наследственное неравенство в развитии и культуре умов и останется источником и освящением всякого политического и социального неравенства. Равенство исходного пункта в начале жизненного пути для каждого, при том, что это равенство будет зависеть от экономического и политического устройства общества, и с тем, чтобы каждый, независимо от разницы натуры, был бы дитя своих дел, — вот в чем состоит проблема справедливости. По нашему мнению, единственным наследником умирающих должен быть общественный фонд воспитания и образования детей обоего пола, включая их содержание от рождения до совершеннолетия. Добавим, что у нас, как у славян и русских, социальной идеей, основанной на общем и традиционном для населения чувстве, является та, что земля, собственность всего народа, может быть во владении лишь тех, кто обрабатывает ее собственными руками.

<...> Итак, мы ограничиваемся сегодня тем, что предлагаем вам сделать следующую декларацию:

«Убежденная в том, что серьезное осуществление в обществе свободы, справедливости и мира невозможно до тех пор, покуда огромное большинство населения остается лишенным всех благ, образования, низведенным до политического и социального ничтожества и обреченным на фактическое, если не юридическое рабство, вследствие нищеты и необходимости работать без отдыха и досуга, производя все те богатства, которыми кичится сегодня мир, и получая столь малую их часть, что ее едва хватает для обеспечения хлеба насущного;

Убежденная в том, что для всей массы, населения, с которой обращались столь ужасно в течение столетий и по сие время, вопрос хлеба является вопросом интеллектуального освобождения, свободы и человечности;

Что свобода без социализма — это привилегия, несправедливость, и что социализм без свободы — это рабство и животное состояние;

Лига провозглашает необходимость коренной социальной и экономической реформы, которая имеет своей целью освобождение

труда народа от ига капитала и собственников на основе самой строгой справедливости, не юридической, теологической и метафизической, а просто человеческой, на позитивной науке и самой полной свободе.

Она заявляет также, что страницы ее газеты будут широко открыты для всех серьезных дискуссий по экономическим и социальным вопросам, если только они будут воодушевлены искренним желанием самого полного освобождения народа как в материальном отношении, так и с точки зрения политической и интеллектуальной».

Изложив свои взгляды на *Федерализм* и *Социализм*, мы полагаем, господа, своей обязанностью рассмотреть вместе с вами еще третий вопрос, который мы считаем нераздельно связанным с двумя первыми вопросами, т. е. религиозный вопрос, и мы просим у вас позволения резюмировать все наши взгляды по этому вопросу в одном слове, которое покажется вам, быть может, варварским:

III. АНТИТЕОЛОГИЗМ

Господа, мы убеждены, что в мире не произошло ни одного крупного политического и социального изменения, которое бы не сопровождалось, а зачастую и не предварялось, аналогичным движением в философских и религиозных идеях, управляющих сознанием как индивидов, так и Общества.

Все религии со своими богами всегда были только созданием верующей и левоверной фантазии человека, еще не достигшего уровня чистой рефлексии и свободной, основанной на науке мысли; религиозное небо было лишь миражом, в котором воспламененный верой человек находил свой собственный образ, но увеличенный и перевернутый, то есть *обожествленный*.

История религий, история величия и упадка следовавших друг за другом богов — не что иное, как история развития коллективного ума и коллективного сознания людей. По мере того как они открывали в себе или вне себя какую-либо силу, способность или качество, они приписывали его своим богам, увеличив его, расширив сверх

всякой меры актом своей религиозной фантазии, подобно тому, как это делают дети. Таким образом, благодаря скромности и великодушию людей, небо обогатилось плодами земли, и, естественно, чем небо становилось богаче, тем беднее становилось человечество. Как только божество было признано, оно, естественно, было провозглашено господином, источником, дарителем всего: реальный мир стал существовать лишь через него, и человек, его бессознательный творец, пал перед ним на колени и объявил себя творением, рабом божества.

Христианство является религией *par excellence*¹⁶⁴ именно потому, что оно показывает и выражает саму природу и сущность всякой религии: систематическое и абсолютное обнищание, уничтожение и порабощение человечества в пользу божества — высший принцип не только всякой религии, но и всякой метафизики, как теистической, так и пантеистической. Если Бог — все, то реальный мир и человек — ничто. Если Бог — истина, справедливость и бесконечная жизнь, то человек — ложь, несправедливость и смерть. Если Бог — господин, то человек — раб. Неспособный сам отыскать путь справедливости и истины, он должен получить их, как откровение свыше, через посланников и избранников божьей милости. Кто возвещает откровение, тот признает глашатаев его, пророков, священников, а раз они признаны представителями божества на земле, учителями, воспитателями человечества для вечной жизни, то они получают тем самым право руководить, повелевать и управлять человечеством в его земном существовании. Все люди обязаны абсолютно верить и беспрекословно им повиноваться; рабы Божьи, люди должны быть также рабами Церкви и, с благословения Церкви, рабами Государства. Из всех существующих или существовавших религий только христианство это целиком поняло, а из всех христианских сект только римский католицизм провозгласил и осуществил это со строгой последовательностью. Вот почему христианство является религией абсолютной, последней религией; вот почему апостольская и римская церковь является единственно последовательной, законной и божественной.

Не в обиду будь сказано всем полуфилософам, всем так называемым религиозным мыслителям: *существование Бога обязательно предполагает отречение от человеческого разума и человеческой*

справедливости; оно является отрицанием человеческой свободы и неизбежно приводит не только к теоретическому, но и к практическому рабству.

И если мы не хотим рабства, мы не можем и не должны делать ни малейшей уступки теологии, ибо в этом мистическом и строго последовательном алфавите всякий, начав с А, неизбежно дойдет до Я, и всякий, кто хочет поклоняться Богу, должен отказаться от свободы и достоинства человека.

Бог существует, значит, человек — раб.

Человек разумен, справедлив, свободен, — значит, Бога нет.

Мы призываем всех выйти из этого круга, теперь выбирайте.

К тому же история показывает, что священники всех религий, за исключением преследуемых, были союзниками тирании. И даже преследуемые священники, хотя они и боролись против притеснения властей, и проклинали их, разве они не дисциплинировали своих верующих и не приготавливали тем самым элементы новой тирании? Каким бы ни было духовное рабство, оно всегда будет иметь своим естественным последствием рабство политическое и социальное. В настоящее время христианство во всех своих формах, вместе с вытекающей из него доктринерской и деистической метафизикой, которая в сущности не что иное, как замаскированная теология, несомненно является самым большим препятствием на пути освобождения общества. Поэтому-то все правительства, все государственные люди Европы, которые сами не являются ни метафизиками, ни теологами, ни деистами, которые в глубине души не верят ни в бога, ни в дьявола, так страстно, так неистово защищают и метафизику, и религию, какую бы то ни было религию, лишь бы она проповедовала смирение, подчинение и терпение, — что, впрочем, все религии и делают <...>.

Поэтому нам чрезвычайно важно освободить массы от религиозных суеверий, и не только из-за любви к ним, но также и из-за любви к самим себе, ради спасения нашей свободы и безопасности. Но эта цель может быть достигнута лишь двумя средствами: *рациональной наукой* и *пропагандой социализма*.

Мы подразумеваем под *рациональной наукой* ту, которая, освободившись от всех призраков метафизики и религии, отличается и от чисто экспериментальных и критических наук прежде всего тем, что

не ограничивает свои исследования тем или иным определенным предметом, а старается охватить весь доступный познанию мир, ибо ей нет дела до непознаваемого; далее, тем, что она пользуется не только и исключительно аналитическим методом, как это делают вышеупомянутые науки, но позволяет себе прибегать и к синтезу, довольно часто пользуется аналогией и дедукцией, но всегда придает своим синтетическим выводам чисто гипотетическое значение, пока они не подтверждены самым строгим экспериментальным или критическим анализом.

Гипотезы рациональной науки отличаются от гипотез метафизики в том отношении, что эта последняя, выводя свои гипотезы как логические следствия из абсолютной системы, пытается заставить природу их принять, тогда как гипотезы рациональной науки, исходящие не из трансцендентной системы, а из синтеза, являющегося не чем иным, как резюме или общим выражением множества доказанных на опыте фактов, никогда не могут иметь такого императивного, обязательного характера, поскольку они всегда выдвигаются таким образом, что их можно отбросить сейчас же, как только они окажутся опровергнутыми новыми опытами.

Рациональная философия или универсальная наука не ведет себя ни аристократически, ни авторитарно, как то делала усопшая госпожа метафизика. Эта последняя, смотря всегда сверху вниз, путем дедукции и синтеза, на словах, правда, признавала автономию и свободу частных наук, но на деле страшно их притесняла. Доходило до того, что она навязывала им законы и даже факты, которых часто нельзя было обнаружить в природе, и препятствовала проведению ими опытов, результаты которых могли бы уничтожить ее спекуляции. Как видите, метафизика действовала по методу централизованных государств.

Рациональная философия, наоборот, является совершенно демократической наукой. Она свободно строится снизу вверх, и опыт — ее единственная основа. *Она не может принять ничего, что не было бы подвергнуто действительному анализу и подтверждено опытом или самой строгой критикой.* Поэтому Бог, Бесконечное, Абсолют — все эти столь любимые метафизикой объекты — полностью из нее устраняются. Она с равнодушием отворачивается от них, считая их призраками или миражами. Но поскольку призраки и ми-

ражи играют существенную роль в развитии человеческого духа, ибо человек обычно приходит к постижению простой истины лишь после того, как он создал и исчерпал в своем воображении все возможные иллюзии, и поскольку развитие человеческого ума является реальным предметом науки, постольку естественная философия уделяет им место, но, занимаясь ими лишь с исторической точки зрения, она старается одновременно показать нам как физиологические, так и исторические причины зарождения, развития и упадка религиозных и метафизических идей, а также их относительную и преходящую необходимость для развития человеческого духа. Таким образом, отдав им все, на что они по справедливости имеют право, она отворачивается от них навсегда.

Ее предмет — это реальный и познаваемый мир. В глазах рационального философа в мире существует лишь одно сущее и одна наука. Поэтому он стремится охватить и согласовать все частные науки в единой системе. Эта координация всех позитивных наук в единое человеческое знание составляет *позитивную философию*, или универсальную науку. Наследуя религии и метафизике и в то же время совершенно их отрицая, эта философия, издавна предчувствуемая и подготовляемая лучшими умами, была впервые представлена в виде целостной системы великим французским мыслителем *Огюстом Конттом*, который умелой и твердой рукой сделал ее первый набросок <...>.

На этом пути уже предчувствуется появление новой науки, *социологии*, т.е. науки об общих законах, управляющих всем развитием человеческого общества. Социология будет последней ступенью и увенчанием позитивной философии. История и статистика доказывают нам, что социальное тело, подобно всякому другому природному телу, повинуется в своих изменениях и превращениях общим законам, которые, по-видимому, столь же необходимы, как и законы физического мира. Выявление этих законов из событий прошлого и массы фактов настоящего — таков должен быть предмет этой науки. Помимо громадного интереса, представляемого ею для ума, она обещает в будущем и большую практическую пользу; ибо, подобно тому как мы можем властвовать над природой и преобразовывать ее согласно нашим возрастающим нуждам лишь благодаря приобретенному нами знанию ее законов, мы сумеем осуществить свободу и бла-

годенствие в социальной среде лишь с учетом естественных, постоянных законов, управляющих этой средой. Коль скоро мы признали, что пропасти, которая в воображении теологов и метафизиков разделяет дух и природу, вовсе не существует, мы должны рассматривать человеческое общество как тело, — правда, гораздо более сложное, чем другие, но столь же естественное и повинующееся тем же законам, а также законам, исключительно ему свойственным. Раз это признано, становится ясным, что знание и строгое соблюдение этих законов необходимо для того, чтобы социальные изменения, которые мы намерены произвести, были бы действительны.

Но, с другой стороны, мы знаем, что *социология* — это наука, которая только что родилась, что она еще в поисках своих принципов, и если мы будем судить об этой науке, самой трудной из всех, по примеру других, то мы должны будем признать, что потребуются века, по крайней мере одно столетие, чтобы она могла окончательно утвердиться и сделаться наукой серьезной и сколько-нибудь полной и самодостаточной <...>.

Мы полны уважения к науке и считаем ее драгоценнейшим сокровищем, чистейшей славой человечества. Ею человек отличается от животного, своего меньшего брата в настоящем, своего предка в прошлом; она дает ему возможность быть свободным. Тем не менее необходимо также признать ограниченность науки, напомнить ей, что она не есть целое, а только часть, что целое — это жизнь: универсальная жизнь миров или, дабы не потеряться в неведомом и неопределенном, жизнь нашей Солнечной системы или хотя бы нашего земного шара, наконец; говоря более узко: человеческий мир — движение, развитие, жизнь человеческого общества на Земле. Все это бесконечно шире, глубже и богаче науки и никогда не будет ею исчерпано.

Жизнь, взятая в этом всеобъемлющем смысле, отнюдь не является применением какой бы то ни было человеческой или божеской теории; мы сказали бы, что это — творение, если бы мы не опасались превратного толкования этого слова <...>.

Если мы колеблемся, употребить ли слово «творение», то только из опасения, что ему придадут смысл, который мы никак не можем принять. Кто говорит о творении, говорит как будто и о творце, а мы отвергаем существование единого творца как в отношении к челове-

ческому миру, так и к миру физическому, которые, впрочем, вместе составляют, на наш взгляд, один мир. Даже говоря о народах, творцах своей собственной истории, мы сознаем, что употребляем метафорическое выражение, неточное сравнение. Каждый народ является коллективным существом, обладающим как физиолого-психологическими, так и политико-социальными особенностями, которые в какой-то степени индивидуализируют его, отличая от всех других народов; но никогда не индивид, единое и неделимое существо в истинном смысле слова. Как ни развито его коллективное сознание, как ни концентрировано в момент великого национального кризиса страстное, направленное на одну цель стремление, именуемое народной волей, никогда эта концентрация не сравнится с тою, что свойственна реальному индивиду. Одним словом, ни один народ, каким бы единым он себя ни чувствовал, никогда не может сказать: я хочу! Он должен всегда говорить: мы хотим. Только индивидуум имеет привычку говорить: я хочу! И если говорят от имени всего народа: он хочет! — будьте уверены, что за этим скрывается какой-нибудь узурпатор, человек это или партия.

Итак, мы не подразумеваем здесь под словом «творение» ни теологическое или метафизическое творение, ни художественное, научное, промышленное, ни какое-либо иное творение, за которым стоит индивидуум-творец. Мы подразумеваем под этим словом просто бесконечно сложный продукт бесчисленного множества самых различных причин, больших и малых, частью известных, но в подавляющем большинстве остающихся неизвестными, которые, соединившись в данный момент, конечно, не без причины, но и без заранее начертанного плана, совершенно непреднамеренно, создали данный факт.

Но в таком случае, скажут нам, история и судьбы человеческого общества должны были бы представлять собой один лишь хаос и быть игрою случая? Напротив, только с момента освобождения истории от всякого божественного и человеческого произвола, тогда и только тогда она предстает перед нами во всем величии и рациональности закономерного развития, подобно органической и физической природе, чьим непосредственным продолжением она является. Природа, несмотря на неисчерпаемое богатство и разнообразие составляющих ее существ, нисколько не представляет собой

хаоса; напротив, это великолепно организованный мир, где каждая часть сохраняет, так сказать, необходимую логическую связь со всеми остальными. Но, скажут, значит, был тогда устроитель? Вовсе нет, устроитель, будь он хоть богом, мог бы лишь испортить личным произволом естественное устройство и логическое развитие вещей, а мы видели, что во всех религиях главное свойство божества — это быть именно выше, то есть против всякой логики и всегда иметь только одну собственную логику: логику естественной невозможности, абсурдности*. Ибо что такое логика, как не естественный ход и развитие вещей, или же естественный способ, посредством которого множество определяющих причин производит факт. Следовательно, мы можем высказать эту столь простую и в то же время столь смелую аксиому: *все естественное — логично, и все логичное — осуществлено или должно осуществиться в реальном мире, в самой природе и в ее дальнейшем развитии — естественной истории человеческого общества <...>*.

Многим покажется, пожалуй, странным, что в политическом, социалистическом сочинении обсуждаются вопросы метафизики и теологии. Но, по нашему глубочайшему убеждению, эти вопросы не могут быть отделены от проблем социализма и политики. Реакционный мир под натиском непобедимой логики становится все более религиозным. Он поддерживает в Риме папу, он преследует в России естественные науки, во всех странах свои военные, гражданские, политические и социальные беззакония он защищает именем Бога, которого, в свою очередь, он яростно защищает в церквях и в школах с помощью лицемерно религиозной, раболепной, льстивой, тяжеловесно-доктринерской науки и всеми другими средствами, находящимися в распоряжении Государства. Царство божие на небесах с соответствующим ему явным или замаскированным царством кнута и узаконенной эксплуатацией труда порабощенных масс на земле —

* Сказать, что Бог не против логики, значит утверждать, что он совершенно идентичен ей, что он сам — не что иное, как логика, т. е. естественный ход и развитие реальных вещей, иначе говоря, что Бога нет. Существование Бога может иметь значение лишь как отрицание естественных законов, отсюда эта неопровержимая дилемма: Бог существует, значит нет естественных законов и мир представляет собой хаос. Мир не есть хаос, он упорядочен сам по себе — значит, Бога нет.

таков сегодня религиозный, социальный, политический и вполне логичный идеал реакционных партий в Европе. По противоположной причине революция, наоборот, должна быть атеистической: исторический опыт и логика доказали, что достаточно одного господина на небе, чтобы создать тысячи господ на земле.

Наконец не является ли социализм по самой своей сущности, которая состоит в осуществлении и свершении всех человеческих судеб здесь, на земле, а не на небе, завершением и, следовательно, отрицанием всякой религии, существование которой потеряет всякий смысл, как только ее стремления будут осуществлены?

<...> религия, подобно всему человеческому, имеет свой первоисток в животной жизни. Нельзя сказать, что какое-либо животное, за исключением человека, имеет религию, ибо самая грубая религия предполагает все-таки известную степень рефлексии, до которой еще не поднялось ни одно животное, кроме человека. Но столь же невозможно отрицать, что в существовании всех без исключения животных имеются все составные, так сказать, материальные элементы религии, за исключением, конечно, ее идеальной стороны, той именно, которая рано или поздно ее уничтожит, — мысли. В самом деле, какова действительная сущность всякой религии? Это именно чувство абсолютной зависимости преходящего индивида от вечной и всемогущей природы.

Нам трудно обнаружить это чувство и анализировать все его проявления у животных низших видов; однако мы можем сказать, что инстинкт самосохранения, наблюдаемый в относительно простых организациях, конечно, в меньшей степени, чем в высших организациях, — это своего рода обычная мудрость, образующаяся в каждой под влиянием этого чувства, которое, как мы уже сказали, есть не что иное, как религиозное чувство. У животных, наделенных более совершенной организацией и стоящих ближе к человеку, это чувство проявляется более заметно, например, в инстинктивном и паническом страхе, охватывающем их иногда при приближении какой-нибудь крупной природной катастрофы вроде землетрясения, лесного пожара или сильной бури. Вообще можно сказать, что страх является одним из преобладающих чувств в животной жизни. Все животные, живущие на свободе, пугливы, и это доказывает, что они живут в непрестанном инстинктивном страхе, что они всегда

испытывают чувство опасности, т. е. ощущают присутствие всемогущего влияния, которое их преследует, пронизывает и охватывает всегда и везде. Этот страх, страх Божий, как сказали бы теологи, есть начало мудрости, т. е. религии. Но у животных он не становится религией, ибо им недостает той способности мыслить, которая фиксирует чувство, определяет его объект и превращает его в сознание, в мысль. Таким образом, совершенно справедливо утверждают, что человек по природе религиозен; он религиозен подобно всем другим животным — но он один на этой земле осознает свою религиозность.

Говорят, что религия — это первое пробуждение разума; верно, но пробуждение в неразумной форме. Религия, как мы только что видели, начинается со страха. И в самом деле, человек, пробуждаясь с первыми лучами того внутреннего солнца, которое мы называем самосознанием, и медленно, шаг за шагом выходя из гипнотического полусна, из чисто инстинктивного существования, в котором он находился в состоянии полнейшего неведения, т. е. животности, будучи к тому же рожденным, подобно всякому животному, в страхе перед внешним миром, который, правда, его производит и кормит, но который в то же время его притесняет, давит и грозит каждую минуту поглотить, — человек непременно должен был обратить свою зарождающуюся рефлексию именно на этот страх. Можно предположить, что у первобытного человека при пробуждении разума этот инстинктивный ужас должен был быть сильнее, чем у животных всех других видов. Прежде всего потому, что он рождается менее вооруженным, чем другие животные, и его детство более продолжительно; затем потому, что эта самая рефлексия, едва расцветшая и еще не достигшая достаточной степени зрелости и силы, чтобы распознавать внешние предметы и пользоваться ими, должна была тем не менее вырвать человека из единения согласия и инстинктивной гармонии с природой, в которой он находился, подобно своему двоюродному брату горилле, покуда в нем не пробудилась мысль. Так, рефлексия изолировала его от природной среды, которая, становясь, таким образом, для него чуждой, должна была являться ему сквозь призму воображения, возбужденного и расширенного под действием зарождающейся рефлексии, в виде темной и таинственной силы, гораздо более враждебной и опасной, чем она есть в действительности.

Для нас чрезвычайно трудно, если не невозможно, представить себе первые религиозные чувства и представления дикого человека. В подробностях они, без сомнения, должны были быть столь же разнообразны, сколь разнообразны были характеры первобытных народностей, которые их испытывали, а также сколь разнообразны были климатические и природные условия и все другие внешние обстоятельства и определения, в среде которых эти чувства развивались. Но так как, при всем этом, это были все же человеческие чувства и представления, то, несмотря на это великое множество особенностей, они должны были сводиться к некоторым одинаковым моментам общего характера, которые мы и постараемся определить. Каким бы ни было происхождение различных человеческих групп и расселение человеческих рас по земле, имели ли все люди родоначальником одного Адама¹⁶⁵ — гориллу или двоюродного брата гориллы, или же они произошли от нескольких предков, созданных природой в различных местах и в различные эпохи, независимо друг от друга, способность, создающая и составляющая собственно человеческую природу всех людей, а именно: рефлексия, способность к абстракции, разум, мысль, одним словом, способность создавать идеи, а также законы, определяющие проявление этой способности, всегда и везде тождественны, всегда и везде одинаковы, и никакое человеческое развитие не могло бы происходить вопреки этим законам. Это дает нам право предположить, что основные фазы, отмеченные в начальном религиозном развитии одного какого-нибудь народа, должны воспроизводиться в развитии всего остального населения Земли <...>.

Последним пределом, высшей целью всего человеческого развития является *свобода*. Ж. Ж. Руссо¹⁶⁶ и его ученики ошибались, ища ее в начале истории, когда человек, еще лишенный всякого самосознания и, следовательно, неспособный заключить какой бы то ни было договор, находился под игом той фатальности естественной жизни, которой подчиняются все животные и от которой человек смог в известном смысле освободиться лишь благодаря последовательному использованию разума, развивавшегося, правда, очень медленно на протяжении всей истории. Постепенно он познавал законы, управляющие внешним миром, а также законы, присущие нашей собственной природе; он их, так сказать, присваивал, превращая их в идеи — почти спонтанные создания нашего собственного мозга, — и делал так, что,

продолжая подчиняться этим законам, человек подчинялся теперь только собственным мыслям. По сравнению с природой в этом — единственное достоинство и вся возможная свобода человека. У него никогда не будет другой, ибо законы природы неизменны, неизбежны; они являются основанием всего сущего и определяют наше бытие, так что никто не может восстать против них, не убедившись тотчас же в бессмысленности этого и не обрекая себя на верное самоубийство. Но, познавая и осваивая их своим умом, человек возвышается над непосредственной властью внешнего мира и, становясь, в свою очередь, творцом, повинуюсь с этих пор лишь собственным идеям, он более или менее преобразует этот мир сообразно своим возрастающим потребностям и как бы привносит в него свой человеческий образ.

Таким образом, то, что мы называем *человеческим миром*, не имеет другого непосредственного творца, кроме человека, который создает его, отвоевывая шаг за шагом у внешнего мира и собственной животности свою свободу и человеческое достоинство. Он завоевывает их, влекомый независимой от него силой, непреодолимой и равно присущей всем живым существам. Эта сила — всеобщий поток жизни, тот самый, который мы называем всеобщей причинностью, природой и который проявляется во всех живых существах, растениях или животных как стремление каждого осуществить условия, необходимые для жизни своего вида, т. е. удовлетворить свои потребности. Это стремление, существенное и высшее проявление жизни, составляет основу того, что мы называем волей. Фатальная и непреодолимая у всех животных, не исключая самого цивилизованного человека, инстинктивная, можно было бы даже сказать, механическая — в низших по организации, более сознательная — в высших видах, она полностью раскрывается только в человеке, который благодаря своему разуму, возвышающему его над каждым из его инстинктивных побуждений и позволяющему ему сравнивать, критиковать и упорядочивать свои собственные потребности, один среди всего живого на Земле обладает сознательным самоопределением, *свободной волей*.

Само собой разумеется, эта свобода человеческой воли во всеобщем потоке жизни или этой абсолютной причинности, где каждая отдельная воля — это как бы только ручеек, имеет лишь тот смысл, который ей придает рефлексия в противоположность механическому действию или даже инстинкту. Человек улавливает и понимает

природную необходимость, которая, отражаясь в его мозгу, возрождается в нем посредством еще мало изученного реактивного физиологического процесса в виде логической последовательности его собственных мыслей. Это понимание дает ему, при всей его нисколько не прерывающейся абсолютной зависимости, чувство самоопределения, сознательной спонтанной воли и свободы. Без полного или частичного самоубийства ни один человек никогда не освободится от своих естественных желаний, но он может их регулировать и модифицировать, стремясь все более сообразовывать их с тем, что в различные периоды своего интеллектуального и нравственного развития называет справедливым и прекрасным.

В сущности, основные моменты самого утонченного человеческого и самого темного животного существования суть и всегда останутся тем же самым: рождаться, развиваться и расти, работать, чтобы есть и пить, чтобы иметь кров и защищаться, поддерживать свое индивидуальное существование в социальном равновесии своего вида, любить, размножаться, затем умирать... К этим моментам только у человека прибавляется новый: мыслить и познавать — способность и потребность, которые обнаруживаются, правда, в меньшей, но уже весьма ощутимой степени и у животных наиболее близких по организации к человеку, ибо, по-видимому, в природе не существует абсолютных качественных различий, и все качественные различия сводятся, в конце концов, к количественным. Только у человека эти способности становятся настолько настоятельными и господствующими, что мало-помалу преобразуют всю его жизнь. Как верно заметил один из величайших мыслителей наших дней, Людвиг Фейербах, человек делает все, что делают животные, но только он должен делать это все более и более *человечно*. В этом все различие, но оно огромно*. Оно

* Никогда не лишне повторять это многим приверженцам современного натурализма или материализма, которые — ввиду того, что человек в наши дни обнаружил свое полное родство со всеми другими видами животных и свое непосредственное и земное происхождение, ввиду того, что он отказался от нелепых и пустых претензий спиритуализма, который под предлогом дарования ему абсолютной свободы приговаривал его к вечному рабству, — воображают, что это дает им право отбросить всякое уважение к человеку. Этих людей можно сравнить с лакеями, которые, открыв плебейское происхождение человека, заставившего себя уважать своими личными достоинствами, считают себя вправе относиться к нему как к равному по той простой причине, что в их представле-

заклучает в себе всю цивилизацию, со всеми чудесами промышленности, науки и искусств, со всем религиозным, эстетическим, философским, политическим, экономическим и социальным развитием человечества, — одним словом, весь мир истории. Человек создает этот исторический мир силой своей деятельности, которую вы обнаружите во всех живых существах и которая составляет самую сущность всей органической жизни и стремится ассимилировать и трансформировать внешний мир согласно потребностям каждого. Деятельности, следовательно, инстинктивной и неизбежной, предшествующей всякому мышлению, но которая, будучи озарена разумом человека и направлена его волей, преобразуется в нем и для него в *сознательный и свободный труд*.

Только посредством мысли человек приходит к сознанию своей свободы в произведшей его природной среде; но только трудом он ее осуществляет. Мы отметили, что деятельность, составляющая труд, т. е. *медленная работа по преобразованию поверхности нашей планеты физической силой каждого живого существа сообразно с потребностями каждого*, встречается более или менее развитой на всех стадиях органической жизни. Но она начинает быть *собственно человеческим трудом* только тогда, когда, направленная человеческим разумом и сознательной волей, служит удовлетворению не только строго определенных и неизменных потребностей исключительно животной жизни, но и потребностей *мыслящего существа, которое приобретает свою человечность, утверждая и осуществляя в мире свою свободу*.

Исполнение этой безмерной, бесконечной задачи является не только делом интеллектуального и нравственного развития, но также делом материального освобождения. Человек действительно становится человеком, получает возможность развиваться и внутренне совершенствоваться лишь при условии, что он порвал, хотя бы в какой-то степени, рабские цепи, налагаемые природой на всех своих детей. Цепи эти — голод, всякого рода лишения, боль, влияние климата, времен года и вообще тысячи условий животной

нии не существует другого достоинства, кроме аристократического происхождения. Иные же настолько счастливы открытием родства человека с гориллой, что хотели бы навсегда сохранить его в состоянии животного, отказываясь понять, что все историческое назначение, все достоинство и свобода человека заключаются в удалении от этого состояния.

жизни, удерживающих человеческое существо в чуть ли не абсолютной зависимости от окружающей его среды; это постоянные опасности, которые в виде природных явлений угрожают человеку и подавляют его со всех сторон: этот непрестанный страх, составляющий сущность всякого животного существования и до того подавляющий природного дикого индивида, что он не находит в себе ничего, что воспротивилось бы этому страху и победило бы его... одним словом, присутствуют все элементы самого абсолютно-го рабства. Первый шаг, который делает человек, чтобы освободиться от этого рабства, состоит, как мы уже сказали, в акте разумной абстракции, который, внутренне возвышая человека над окружающими вещами, позволяет ему исследовать их отношения и законы. Но вторым шагом является непременно материальный акт, определяемый волей и направляемый более или менее глубоким познанием внешнего мира: это применение мускульной силы человека к преобразованию этого мира сообразно своим возрастающим потребностям. Эта борьба человека, сознательного труженика, против матери-природы не является бунтом против нее или ее законов. Он использует полученное им знание этих законов лишь с целью стать сильнее и обезопасить себя от грубых нападений и случайных катастроф, а также от периодических и регулярных явлений физического мира. Только познание и самое почтительное соблюдение законов природы делает человека способным, в свою очередь, покорить ее, заставить служить его целям и превратить поверхность земного шара во все более и более благоприятную для развития человечества среду.

Как видите, способность к отвлечению, источник всех наших знаний и всех наших идей, является также единственной причиной всякого человеческого освобождения. Но первое пробуждение этой способности, являющейся не чем иным, как разумом, не приводит тотчас же к свободе. Когда она начинает действовать в человеке, медленно освобождаясь от пелены животной инстинктивности, то вначале она проявляется не в виде разумной рефлексии, обладающей знанием и познанием своей собственной деятельности, а в виде *рефлексии воображения* или неразумия. Она постепенно освобождает человека от природного рабства, тяготеющего над ним с колыбели, только для того, чтобы тотчас же отдать его в новое рабство, в тысячу раз более суровое и ужасное — в рабство религии.

Именно воображение человека превращает естественный культ, элементы и следы которого мы находим у всех животных, в культ человеческий, в элементарной форме фетишизма. Мы обратили внимание на животных, инстинктивно поклоняющихся великим явлениям природы, действительно оказывающим непосредственное и могущественное влияние на их существование, но мы никогда не слышали о животных, поклоняющихся безобидному куску дерева, тряпке, кости или камню. Между тем мы находим этот культ в первобытной религии дикарей и даже в католицизме. Как объяснить эту столь странную, по крайней мере на первый взгляд, аномалию, представляющую человека, с точки зрения здравого смысла и понимания действительности, стоящим гораздо более низко, чем самые скромные животные?

Эта абсурдность есть продукт воображения дикаря. Он не только чувствует, подобно другим животным, всемогущество природы, он делает его предметом своей непрерывной рефлексии, фиксирует и обобщает его посредством какого-нибудь наименования, делает его центром, вокруг которого группируются все его детские воображения. Еще неспособный охватить своей бедной мыслью Вселенную, даже земной шар и даже столь ограниченную среду, в которой он родился и живет, он повсюду ищет, где же именно находится то всемогущество, ощущение которого, теперь уже осознанное и закрепленное, преследует его. И посредством наблюдения, игры своей неразвитой фантазии, которую нам сейчас понять трудно, он привязывает его к этому куску камня, к этой тряпке, к этому камню... таков чистый фетишизм, самая религиозная, т. е. самая абсурдная, из всех религий.

Вслед за фетишизмом и часто в одно время с ним идет *культ колдунов*. Это культ, если и не намного более разумный, то во всяком случае более естественный: он удивляет нас меньше чистого фетишизма, ибо мы к нему привыкли. Мы ведь еще сегодня окружены колдунами: спириты, медиумы, ясновидящие, всякие магнетизеры и даже священники римской католической, а также восточной греческой церкви, которые утверждают, что они имеют власть заставить Бога с помощью каких-то таинственных формул сойти на воду или же воплотиться в хлебе и вине. Разве все эти *насилъники* покоренного их заклинаниями божества не колдуны? Правда, их божество, развивав-

шееся в течение нескольких тысячелетий, гораздо более сложно, чем божество первобытного колдовства, объектом которого является только зафиксированный, но еще не определенный образ всемогущества, без какого-либо другого интеллектуального или морального атрибута. Различие между добром и злом, справедливым и несправедливым здесь еще неизвестно; не знают, что такое божество любит и что оно ненавидит, что оно хочет и чего не хочет, оно ни доброе, ни злое — оно всемогуще и больше ничего. Однако божественный характер уже начинает вырисовываться; божество эгоистично и тщеславно, оно любит комплименты, коленопреклонение, унижение и заклятие людей, их обожание и жертвоприношения, — и оно преследует и жестоко наказывает тех, кто не хочет ему поклониться: бунтовщиков, гордецов, нечестивцев. Как известно, это основная черта божественной природы древних и современных богов, созданных человеческим неразумием. Существовало ли когда-нибудь в мире столь завистливое, тщеславное, эгоистичное, кровавое существо, как Иегова¹⁶⁷ евреев или Бог-отец христиан?

В культуре первобытного колдовства божество или это неопределимое всемогущество является вначале как неотделимое от личности колдуна: он сам — бог, подобно фетишу. Но с течением времени роль сверхъестественного человека, человека-бога, становится невозможной для реального человека и в особенности для дикаря, который не имеет никаких средств укрыться от нескромного любопытства верующих и остается с утра до вечера открытым для наблюдения. Здравый смысл, практический ум дикого племени, продолжающие развиваться параллельно его религиозному воображению, доказывают ему в конце концов невозможность того, чтобы человек, доступный всем человеческим слабостям и немощам, был богом. Колдун остается для народа сверхъестественным существом, но только иногда, когда он одержим. Но чем же он одержим? Всемогуществом, богом... Значит, божество находится обычно вне колдуна. Где его искать? Фетиш, бог-вещь превзойден, как и колдун, человеко-бог. Все эти трансформации в первобытные времена могли занимать столетия. Дикарь, уже продвинувшийся в своем развитии, обогатившийся опытом и традициями многих веков, ищет теперь божество вдали от себя, но все еще среди реально существующего: в солнце, в луне, в звездах. Религиозная мысль уже начинает охватывать вселенную.

Как мы уже сказали, человек смог достигнуть этого пункта лишь по прошествии долгого ряда веков. Его способность отвлеченно мыслить, его разум развились, окрепли, изоощрились в практическом познании окружающих его вещей и в наблюдении их отношений и взаимной причинности, тогда как повторяемость некоторых явлений дала ему начальное представление о законах природы. Человек начинает интересоваться совокупностью явлений и их причинами; он их разыскивает. В то же время он начинает познавать самого себя и благодаря той же способности к абстракции, которая позволяет ему внутренне подниматься мыслью над самим собою и делать себя объектом рефлексии, он начинает отделять свое материальное и жизненное существо от своего мыслящего существа, внешнее от внутреннего, свое тело от своей души. Но раз это различие открыто им и зафиксировано, то он с естественной необходимостью переносит его на своего бога и начинает искать невидимую душу этого видимого мира. Так должен был родиться религиозный пантеизм индусов.

Мы должны остановиться на этом, ибо именно здесь начинается, собственно, религия в полном смысле этого слова и вместе с ней теология и метафизика. До сих пор религиозное воображение человека, одержимое закрепившимися представлениями о всемогуществе, шло естественным образом, ища причину и источник этого всемогущества путем экспериментального исследования, вначале в самых близких предметах, в фетишах, потом в колдунах, еще позже в значительных явлениях природы, наконец, в звездах, но всегда приписывая его какому-нибудь действительно и видимому предмету, каким бы далеким он ни был. Теперь человек предполагает существование духовного, внемирового, невидимого бога. С другой стороны, до сих пор его боги были ограниченными и обособленными существами среди множества других небожественных существ, одаренными всемогуществом, но все же реально существующими. Теперь он впервые полагает универсальное божество: Существо Существ, субстанцию и творца всех ограниченных и обособленных Существ, всеобщую душу всей Вселенной, Великое Целое. Вот начало настоящего бога и вместе с ним настоящей религии <...>.

Бог — это абсолютная абстракция, собственный продукт человеческой мысли; как сила абстракции, оставив позади все известные существа, все сущее мира, и освободившись тем самым от всякого ре-

ального содержания, превратившись уже в абсолютный мир, не узнавая себя в этой возвышенной наготе, он предстает сам перед собой *как единственное и высшее Существо <...>*.

Мы не думаем отрицать историческую необходимость религии, мы не утверждаем, что она была абсолютным злом в истории. Если она зло, то она была и, к сожалению, поныне остается для громадного большинства невежественного человечества злом неизбежным, подобно тому, как неизбежны недостатки и ошибки в развитии всякой человеческой способности. Религия, как мы уже сказали, — это первое пробуждение человеческого разума в форме божественного неразумия; это первый проблеск человеческой истины сквозь божественные покровы лжи; это первое проявление человеческой морали, справедливости и права сквозь исторические несправедности божественной благодати; наконец, это первый опыт свободы под унижительным и тягостным игом божества, игом, которое в конце концов необходимо будет свергнуть, чтобы действительно завоевать разумный разум, истинную истину, полную справедливость и действительную свободу.

При помощи религии человек-животное, выходя из животности, делает первый шаг к человечности; но покуда он останется религиозным, он никогда не достигнет своей цели, ибо всякая религия обрекает его на абсурд и, направляя его по ложному пути, заставляет искать божественное вместо человеческого. Религия приводит к тому, что народы, едва освободившись от природного рабства, в котором остаются животные других видов, тотчас же попадают в рабство к сильным мира сего и к кастам привилегированным, кастам, этим божеским избранникам.

Одним из главных атрибутов бессмертных богов является, как известно, звание законодателей человеческого общества, основателей государства. Человек, говорят почти все религии, был бы неспособен сам распознать, что хорошо и что плохо, справедливо и несправедливо, а потому само божество должно было так или иначе спуститься на землю, чтобы просветить человека и основать в человеческом обществе политический и социальный строй. Естественным результатом этого является непреложный вывод: все законы и всякая уста-

новленная власть освящены небом и им должно всегда и везде слепо повиноваться.

Это очень удобно для правителей и очень неудобно для управляемых, а так как мы принадлежим к последним, то мы кровно заинтересованы в более близком рассмотрении правомерности этого древнего утверждения, которое всех нас обратило в рабов, чтобы найти средство освободиться от гнета <...>.

<...> *Самым индивидуальным и самым свободным существом* в сравнении с другими животными, бесспорно, является человек.

Мы сказали, что человек — это не только самое индивидуальное из земных существ, но и самое *социальное*. Большой ошибкой со стороны Ж. Ж. Руссо было предположение, что первобытное общество основано на свободном договоре, заключенном дикарями. Но Руссо не единственный, кто это утверждает. Большинство современных юристов и публицистов из школы Канта или из всякой другой индивидуалистической и либеральной школы, не признающих ни общества, основанного на божественном праве теологов, ни общества, определяемого гегельянской школой, как более или менее мистическая реализация объективной морали, ни первобытно-животного общества натуралистов, берут в качестве исходного пункта, *volens volens*¹⁶⁸, *молчаливый договор*. Молчаливый договор! Т. е. договор без слов и, следовательно, без мысли и без воли — возмутительная бессмыслица! Абсурдная фикция и, что хуже, злая фикция! Недостойное надувательство! Ибо он предполагает, что в то время, когда я еще не был в состоянии ни желать, ни думать, ни говорить, — я только тем, что покорно позволил себя оболванить, мог дать согласие на вечное рабство как свое, так и всего моего потомства!

Последствия *общественного договора* поистине пагубны, ибо они приводят к полному доминированию государства. А ведь взятый за исходный пункт принцип кажется чрезвычайно либеральным. Предполагается, что индивиды до заключения этого договора пользуются абсолютной свободой, ибо согласно этой теории только естественный, дикий человек совершенно свободен. Мы высказали свое мнение об этой естественной свободе, которая является лишь абсолютной зависимостью человека-гориллы от постоянного давления внешнего мира. Но предположим, что человек действительно свободен в исходном пункте своей истории, зачем же тогда ему образовывать

общество? Чтобы защитить себя, отвечают нам, от всех возможных вторжений внешнего мира, включая других людей, объединившихся или необъединившихся, но не принадлежащих к формирующемуся новому обществу.

Таковы эти первобытные люди, совершенно свободные, каждый сам по себе и для себя самого, но которые пользуются этой безграничной свободой до тех пор, пока не встретятся друг с другом, пока они пребывают в полной индивидуальной изоляции. Свободе одного не нужна свобода другого, напротив, свобода каждого довольствуется сама собой, существует сама по себе и непременно предстает отрицанием свободы всех других. Все эти свободы при встрече должны друг друга ограничивать, уменьшать, противоречить одна другой и взаимно уничтожаться...

Дабы не уничтожить друг друга совершенно, они заключают между собой явный или молчаливый *договор*, по которому они отказываются от своей части, чтобы обеспечить остальное. Этот договор становится фундаментом общества, а скорее, Государства; ибо надо заметить, что в этой теории нет места для общества, в ней существует только Государство или, лучше сказать, общество в ней полностью поглощено Государством.

Общество — это естественный способ существования совокупности людей независимо от всякого договора. Оно управляется нравами и традиционными обычаями, но никогда не руководствуется законами. Оно медленно развивается под влиянием инициативы индивидов, а не мыслью и волей законодателя. Существуют, правда, законы, управляющие обществом без его ведома, но это законы естественные, свойственные социальному телу, как физические законы присущи материальным телам. Большая часть этих законов до сих пор не открыта, а между тем они управляли человеческим обществом с его рождения, независимо от мышления и воли составляющих его людей. Отсюда следует, что их не надо смешивать с политическими и юридическими законами, провозглашенными какой-либо законодательной властью, которые в разбираемой нами системе считаются логическими выводами из первого договора, сознательно заключенного людьми.

Государство не является непосредственным созданием природы; оно не предшествует, как общество, пробуждению человеческой

мысли; и мы попытаемся в дальнейшем показать, каким образом *религиозное сознание создает его в среде естественного общества*. По мнению либеральных публицистов, первое государство было создано свободной и сознательной волей людей; по мнению абсолютистов, это — творение божие. В обоих случаях оно стоит над обществом и стремится его полностью поглотить.

Во втором случае это само собой понятно, божественное установление обязательно должно поглотить всякое естественное устройство. Любопытнее другое — индивидуалистическая школа со своим свободным договором приходит к тому же результату. И в самом деле, эта школа начинает с отрицания самого существования естественного общества, предшествующего договору, ибо подобное общество предполагало бы естественные отношения между индивидуумами и, следовательно, *взаимное ограничение их свободы*, что противоречит абсолютной свободе, которой каждый, согласно этой теории, имеет возможность пользоваться до заключения договора. Это означало бы не более и не менее, как этот самый договор, существующий в виде естественного факта и предшествующий свободному договору. Следовательно, согласно этой системе, человеческое общество начинается лишь с заключения договора. Но что тогда представляет собой это общество? Прямое и логическое осуществление договора, со всеми его постановлениями, законодательными и практическими следствиями, — это Государство.

Рассмотрим его подробнее. Что оно из себя представляет? Сумму отрицаний индивидуальных свобод всех его членов; или же сумму жертв, которые приносят его члены, отказывающиеся от части своей свободы ради общего блага. Мы видели, что согласно индивидуалистической теории свобода каждого — это ограничение или естественное отрицание свободы всех других: ну так вот, это абсолютное ограничение, это отрицание свободы каждого во имя свободы всех или общего права, — это и есть Государство. Итак, там, где начинается Государство, кончается индивидуальная свобода, и наоборот.

Мне возразят, что Государство, представитель общественного блага, или всеобщего интереса, отнимает у каждого часть его свободы только с тем, чтобы обеспечить ему все остальное. Но остальное — это, если хотите, безопасность, но никак не свобода. Свобода недели-

ма: нельзя отсечь ее часть, не убив целиком. Малая часть, которую вы отсекаете, — это сама сущность моей свободы, это все. В силу естественного, необходимого и непреодолимого хода вещей вся моя свобода концентрируется именно в той части, которую вы удаляете, сколь бы малой она ни была <...>.

Но разве Государство, скажут мне, демократическое Государство, основанное на свободном голосовании всех граждан, может быть отрицанием их свободы? А почему же нет? Это целиком будет зависеть от назначения Государства и власти, которую граждане ему предоставят. Республиканское Государство, основанное на всеобщей подаче голосов, может быть очень деспотичным, даже более деспотичным, чем монархическое, если под предлогом, что оно представляет общую волю, Государство будет оказывать давление на волю и свободное развитие каждого из своих членов всей тяжестью своего коллективного могущества.

Но Государство, возразят мне, ограничивает свободу своих членов лишь постольку, поскольку эта свобода направлена к несправедливости, ко злу. Оно мешает им убивать, грабить и оскорблять друг друга и вообще делать зло, но в то же время предоставляет им полную и всецелую свободу делать добро <...>.

Современные государства достигли именно такого состояния. Христианство служит им лишь предлогом и фразой, или средством обманывать простаков, ибо они преследуют цели, не имеющие никакого отношения к религиозным чувствам. И великие государственные мужи наших дней: Пальмерстоны¹⁶⁹, Муравьевы¹⁷⁰, Кавуры¹⁷¹, Бисмарки¹⁷², Наполеоны громко бы расхохотались, если бы кто-нибудь принял всерьез их демонстрации религиозных чувств. Они бы смеялись еще больше, если бы им приписали гуманистические чувства, намерения и стремления, которые они, впрочем, не упускают случая публично назвать глупостью. Что же остается, что составляет их мораль? Единственно, государственный интерес. С этой точки зрения, которая, за очень малым исключением, была точкой зрения государственных деятелей, *сильных людей* всех времен и всех стран, все, что служит к сохранению, возвеличению и укреплению Государства, каким бы святотатством это ни было с религиозной точки зрения, как бы это ни казалось возмутительно с точки зрения человеческой морали, является *добром*, и наоборот,

все, что этому противоречит, будь то в высшей степени свято или по-человечески справедливо, является *злом*. Такова в действительности мораль и вековая практика всех государств.

Это относится и к государству, основанному на теории общественного договора. Согласно этой системе, добро и справедливость начинают существовать лишь с заключения договора и являются не чем иным, как содержанием и целью договора, т. е. *общим интересом* и *государственным правом* всех заключивших его индивидов, *не считая тех, кто остался вне договора*, следовательно, являются *наибольшим удовлетворением коллективного эгоизма частной и ограниченной ассоциации*, которая, будучи основана на частичном пожертвовании индивидуальным эгоизмом со стороны каждого из ее членов, отторгает от себя как посторонних и как естественных врагов огромное большинство человеческого рода, входящее или не входящее в аналогичные ассоциации.

Существование одного ограниченного государства предполагает и с необходимостью провоцирует образование других государств, ибо совершенно естественно, что индивиды, находящиеся вне первого государства, существованию и свободе которых оно угрожает, объединяются, в свою очередь, против него. И вот человечество разбивается на неопределенное число государств, чуждых, враждебных и угрожающих друг другу. Для них нет общего права, нет общественного договора, ибо в противном случае они бы перестали быть абсолютно независимыми друг от друга государствами и стали бы союзными членами одного великого Государства. Но если только это великое Государство не охватит все человечество, то против него неизбежно будут враждебно настроены другие великие федеративные по своему внутреннему устройству Государства. Война будет всегда верховным законом и необходимостью, свойственной самому существованию человечества.

Каждое государство, федеративное оно или нет по внутреннему устройству, должно стремиться под страхом гибели сделаться самым могущественным. Оно должно пожирать других, дабы самому не быть растерзанным, завоевывать, чтобы не быть завоеванным, порабощать, чтобы не быть порабощенным, ибо две равные, но в то же время чуждые друг другу силы не могли бы существовать, не уничтожая друг друга.

Государство — это самое вопиющее, самое циничное и самое полное отрицание человечности. Оно разрывает всеобщую солидарность людей на земле и объединяет только часть их с целью уничтожения, завоевания и порабощения всех остальных. Оно берет под свое покровительство лишь своих собственных граждан, признает человеческое право, человечность и цивилизацию лишь внутри своих собственных границ; не признавая вне себя никакого права, оно логически присваивает себе право самой жестокой бесчеловечности по отношению ко всем другим народам, которых оно может по своему произволу грабить, уничтожать или порабощать. Если оно и выказывает по отношению к ним великодушие и человечность, то никак не из чувства долга; ибо оно имеет обязанности лишь по отношению к самому себе, а также по отношению к тем своим членам, которые его свободно образовали, которые продолжают его свободно составлять или даже, как это всегда в конце концов случается, сделались его подданными. Так как международное право не существует, *так как оно никак не может существовать серьезным и действительным образом, не подрывая саму основу принципа суверенности государств,* то государство не может иметь никаких обязанностей по отношению к наследию других государств. Следовательно, гуманно ли оно обращается с покоренным народом, грабит ли оно его и уничтожает лишь наполовину, не низводит до последней степени рабства, — оно поступает так из политических целей и, быть может, из осторожности или из чистого великодушия, но никогда из чувства долга, ибо оно имеет абсолютное право располагать покоренным народом по своему произволу.

Это вопиющее отрицание человечности, составляющее сущность Государства, является, с точки зрения Государства, высшим долгом и самой большой добродетелью: оно называется *патриотизмом* и составляет всю *трансцендентную*¹⁷³ мораль Государства. Мы называем ее трансцендентной моралью, потому что она обычно превосходит уровень человеческой морали и справедливости, частной или общественной, и тем самым чаще всего вступает в противоречие с ними. Например, оскорблять, угнетать, грабить, обирать, убивать или порабощать своего ближнего считается, с точки зрения обыкновенной человеческой морали, преступлением. В общественной жизни, напротив, с точки зрения патриотизма,

если это делается для большей славы государства, для сохранения или увеличения его могущества, то становится долгом и добродетелью. И эта добродетель, этот долг обязательны для каждого гражданина-патриота; каждый должен их выполнять — и не только по отношению к иностранцам, но и по отношению к своим соотечественникам, подобным ему членам и подданным государства, — всякий раз, как того требует благо государства.

Это объясняет нам, почему с самого начала истории, т. е. с рождения государств, мир политики всегда был и продолжает быть ареной наивысшего мошенничества и разбоя — разбоя и мошенничества, к тому же высоко почитаемых, ибо они предписаны патриотизмом, трансцендентной моралью и высшим государственным интересом. Это объясняет нам, почему вся история древних и современных государств является лишь рядом возмутительных преступлений; почему короли и министры в прошлом и настоящем, во все времена и во всех странах, государственные деятели, дипломаты, бюрократы и военные, если их судить с точки зрения простой морали и человеческой справедливости, сто раз, тысячу раз заслужили виселицы или каторги; ибо нет ужаса, жестокости, святотатства, клятвопреступления, обмана, низкой сделки, циничного воровства, бесстыдного грабежа и подлой измены, которые бы не были совершены, которые бы не продолжали совершаться ежедневно представителями государств без другого извинения, кроме столь удобного и вместе с тем столь страшного слова: *государственный интерес!*

Поистине ужасное слово! оно развратило и обесчестило большее число лиц в официальных кругах и правящих классах общества, чем само христианство. Как только это слово произнесено, все замолкает, все исчезает: честность, честь, справедливость, право, исчезает само сострадание, а вместе с ним логика и здравый смысл; черное становится белым, а белое — черным, отвратительное — человеческим, а самые подлые предательства, самые ужасные преступления становятся достойными поступками!

<...> мы — дети Революции и мы наследовали от нее Религию человечности, которую мы должны основать на руинах Религии божества; мы верим в права человека, в достоинство и необходимое освобождение человеческого рода; мы верим в человеческую свободу и в человеческое братство, основанное на человеческой справедливости.

Одним словом, мы верим в победу человечности на Земле. Но эта победа, которой мы желаем всем сердцем и хотим ее приблизить, объединив наши усилия, эта победа, будучи по своей природе отрицанием преступления, собственно, отрицанием человечности, может осуществиться, лишь когда преступление перестанет быть тем, чем оно является в настоящее время почти повсюду: *самой основой политического существования наций, поглощенных, порабощенных идей Государства*. И так как теперь уже доказано, что никакое государство не может существовать, не совершая преступлений или, по крайней мере, не мечтая о них, не обдумывая, как их исполнить, когда оно бессильно их совершить, мы в настоящее время приходим к выводу о *безусловной необходимости уничтожения государств*. Или, если хотите, их полного и коренного переустройства в том смысле, чтобы они перестали быть централизованными и организованными сверху вниз державами, основанными на насилии или на авторитете какого-нибудь принципа, и, напротив, реорганизовались бы снизу вверх, с абсолютной свободой для всех частей объединяться или не объединяться и с постоянным сохранением для каждой части свободы выхода из этого объединения, даже если бы она вошла в него по доброй воле; реорганизовались бы согласно действительным потребностям и естественным стремлениям всех частей, через свободную федерацию индивидов и ассоциаций, коммун, округов, провинций и наций в единое человечество.

<...> всякое государство, под страхом гибели и поглощения соседними государствами, должно стремиться к всемогуществу, а став всемогущественным, оно должно завоевывать. Кто говорит о завоевании, говорит о завоеванных, угнетенных, обращенных в рабство народах, какую бы форму это ни имело и как бы ни называлось. Итак, рабство является необходимым следствием существования государства.

Рабство может менять форму и название, но суть его остается прежней. Эта суть выражается в следующих словах: *быть рабом — значит быть принужденным работать для другого, так же как быть господином — значит жить за счет труда другого*. В древнем мире, подобно тому, как теперь в Азии, в Африке и даже еще в части Америки, рабы прямо назывались рабами. В средние века они получили имя крепостных, в настоящее время их называют *наемными работниками* <...>.

<...> Люди в естественном состоянии совершенно свободны с точки зрения *права*, но *на деле* они подвержены всем опасностям, которые каждую минуту угрожают их жизни и безопасности. Чтобы обеспечить и сохранить эту безопасность, они жертвуют, они отрекаются от большей или меньшей части своей свободы, и поскольку они жертвуют ею ради своей безопасности, поскольку становятся гражданами, они делаются *рабами государства*. Поэтому мы вправе утверждать, что, *с точки зрения государства, добро рождается не из свободы, а, наоборот, из отрицания свободы*.

Не знаменательно ли это сходство между теологией — этой наукой церкви, и политикой — этой теорией государства, и то, что два внешне столь различных порядка мысли и фактов приходят к одному и тому же убеждению: *о необходимости пожертвовать человеческой свободой, чтобы сделать людей нравственными и превратить их согласно церкви — в святых, согласно государству — в добродетельных граждан* <...> политика и теология две сестры, имеющие одно происхождение и преследующие одну цель, хотя и под разными названиями; что всякое государство является земной церковью, подобно тому, как всякая церковь, в свою очередь, со своими небесами — местопребыванием блаженных и бессмертных богов, является не чем иным, как небесным государством <...>.

Всякая последовательная и искренняя теория государства основана главным образом на принципе *авторитета*, т. е. на той в высшей степени теологической, метафизической и политической идее, что массы, будучи *всегда* неспособными к самоуправлению, во всякое время должны пребывать под благотворным игом мудрости и справедливости, так или иначе навязанными им сверху. Но кем и во имя чего? Авторитет, который массы признают и которому подчиняются, как таковому, может иметь лишь три источника: силу, религию и воздействие высшего разума <...>, который, как известно, всегда составляет удел меньшинства <...>.

Нет ничего более опасного для личной морали человека, чем привычка повелевать. Самый лучший, самый просвещенный, бескорыстный, великодушный, чистый человек неизбежно испортится в этих условиях. Два присущих власти чувства всегда неизбежно ведут к этому разложению: *презрение к народным массам и преувеличение своих собственных заслуг*.

Массы, осознав свою неспособность к самоуправлению, выбрали меня в вожди. Тем самым они открыто признали свою неполноценность и мое превосходство. Из всей этой толпы людей, в которой лишь несколько человек я признаю равными себе, я один способен управлять общественными делами. Народ во мне нуждается, он не может обойтись без моих услуг, между тем как я довольствуюсь самим собой. Значит, народ должен повиноваться мне ради собственного блага, и, снисходя до управления им, я делаю его счастливым. Не правда ли, есть от чего потерять голову и сердце и обезуметь от гордости? Таким образом, власть и привычка повелевать становятся даже для самых просвещенных и добродетельных людей источником интеллектуального и одновременно морального извращения <...>.

<...> всякая коллективная и индивидуальная мораль покоится главным образом на *уважении к человеку*. Что подразумеваем мы под уважением к человеку? — Признание человечности, человеческого права и человеческого достоинства в каждом человеке, каковы бы ни были его раса, цвет кожи, уровень развития его ума и даже нравственности. Но могу ли я уважать человека, если он глуп, злобен, достоин презрения? Конечно, если он обладает этими качествами, то невозможно, чтобы его подлость, тупоумие, грубость вызывали мое уважение; они мне противны и возмутительны; я приму против них, в случае надобности, самые энергичные меры, и даже убью этого человека, если у меня не останется других средств защитить мою жизнь, мое право или то, что мне дорого и мною уважаемо. Но во время самой решительной, ожесточенной и в случае необходимости смертельной борьбы с ним я должен уважать в нем его человеческую природу. Только этой ценой я могу сохранить свое собственное человеческое достоинство. Однако, если этот человек не признает ни в ком этого достоинства, можно ли признавать его в нем? Если он своего рода хищный зверь, если, как это иногда случается, хуже, чем зверь, можно ли признавать в нем человеческую природу, не будет ли это заблуждением? Нет, ибо каково бы ни было его теперешнее интеллектуальное и моральное падение, если органически он не является ни идиотом, ни безумным — в каких случаях с ним надо было бы обращаться не как с преступником, а как с больным, — если он вполне владеет своими чувствами и рассудком, отпущенными ему от природы, его человеческая натура, при всех ужасных отклонениях, тем

не менее весьма реально существует в нем *как всегда живущая, куда он жив, способность возвыситься до сознания своей человечности — если только произойдет коренная перемена в социальных условиях, сделавших его тем, что он есть.*

Возьмите самую умную, самую способную обезьяну, поместите ее в наилучшие, в наиболее человеческие условия — и все же вы никогда не сделаете из нее человека. Возьмите самого закоренелого преступника и самого бедного умом человека; если только ни в одном из них нет какого-нибудь органического дефекта, определяющего его идиотизм или неизлечимое безумие, то вы убедитесь, что если один сделался преступником, а другой еще не возвысился до сознания своей человечности и своих человеческих обязанностей, то *виноваты в этом не они сами, даже не их натура, а социальная среда, в которой они родились и развивались.*

Мы подошли здесь к самому важному моменту социального вопроса и науки о человеке вообще. Мы уже неоднократно повторяли, что *мы полностью отрицаем свободу воли* в том смысле, какой приписывают этому слову теология, метафизика и юридическая наука, т. е. в смысле спонтанного самоопределения индивидуальной воли человека, независимо от всякого природного или социального влияния.

Мы отрицаем существование души, существование духовной субстанции, независимой и отделимой от тела. Напротив, мы утверждаем, что, подобно тому, как тело индивида, со всеми своими способностями и инстинктивными предрасположениями, является лишь равнодействующей всех общих и частных причин, определивших его индивидуальную организацию, — то, что неправильно называется душой человека, его интеллектуальные и моральные качества являются прямым производением или, лучше сказать, естественным, непосредственным выражением этой самой организации, а именно выражением уровня органического развития, которого благодаря стечению независимых от воли причин достиг его мозг.

Всякий, даже самый непритязательный индивид является продуктом веков; история причин, способствовавших его образованию, не имеет начала. <...> Не имея возможности изучить и объять все эти

последовательные трансформации, мы можем безошибочно утверждать, что *всякий человеческий индивид в момент своего рождения является всецело продуктом исторического, т. е. физиологического и социального развития его расы, народа, касты — если в его стране существуют касты, — его семьи, его предков и индивидуальных особенностей его отца и матери, передавших ему непосредственно, путем физиологического наследования, в качестве его естественного исходного пункта и определения его индивидуальности все неизбежные следствия их собственного предшествующего существования как материального, так и морального, как индивидуального, так и социального, включая их мысли, чувства и поступки, включая все превратности их жизни и все большие или малые события, в которых они принимали участие, включая также бесконечное многообразие случайностей, которые могли с ними произойти**, вместе со всем тем, что они наследовали таким же образом от своих собственных родителей.

Нам нет надобности напоминать о том, чего никто и не думает отрицать, а именно, что различия рас, народов и даже классов и семей определяются причинами географическими, этнографическими, физиологическими, экономическими (включая два больших вопроса: вопрос о занятиях, т. е. о разделении коллективного труда общества, о способе распределения богатств; и вопрос о питании как в отношении количества, так и в отношении качества), а также причинами историческими, религиозными, философскими, юридическими, политическими и социальными. Все эти причины, комбинируясь

* Случайности, которым подвержен эмбрион во время своего развития в чреве матери, прекрасно объясняют различие, чаще всего существующее между детьми одних родителей, и делают для нас понятным, каким образом у умных родителей может быть дитя-идиот. Но это всегда лишь печальное исключение вследствие какой-либо случайной мимолетной причины. Природа, благодаря несуществованию благого Бога, никогда не бывая капризной и ничего не делая без достаточной на то причины, никогда не меняет тенденцию или направление, не будучи принуждаемой к этому превосходящей ее силой. Таким образом, правило воспроизводства человеческого рода путем последовательности пар, образующих семью, должно быть таким: *если бы каждая пара прибавляла к физиологическому наследству своих родителей новое физическое, интеллектуальное и моральное развитие, то — так как всякое идеальное совершенствование есть материальное совершенствование, идущее от мозга, — каждое вновь рождающееся существо должно бы быть во всех отношениях выше своих родителей.*

различным образом для каждой расы, каждой нации и, более того, для каждой провинции и каждой коммуны, каждого класса, каждой семьи, придают всем им собственную физиономию, т. е. особый физиологический тип, сумму специальных предрасположений и способностей, — независимо от воли индивидов, входящих в их состав и всецело являющихся их продуктом.

Таким образом, каждый человеческий индивид уже в момент своего рождения является *материальной, органической равнодействующей* всего того бесконечного разнообразия причин, которые, скомбинировавшись, произвели его. Его душа, т. е. его органическое предрасположение к развитию чувств, идей и воли, является лишь продуктом. Она вполне определяется индивидуальным физиологическим качеством его мозговой и нервной системы, которая, как и все его тело, полностью зависит от более или менее удачного сочетания этих причин. Она составляет то, собственно, что мы называем *отличительной, изначальной натурой индивида*.

Существует столько же различных натур, сколько и индивидов. Эти индивидуальные различия проявляются тем яснее, чем более они развиваются или, лучше сказать, они не только проявляются с большей силой, *они действительно увеличиваются по мере того, как развиваются индивиды, потому что различные вещи, внешние обстоятельства, одним словом, тысячи по большей части неуловимых причин, воздействующих на развитие индивидов, сами по себе весьма различны*. Это обуславливает то, что чем более подвигается в жизни какой-нибудь индивид, тем более вырисовывается его индивидуальная натура, тем более он отличается как достоинствами, так и недостатками, от всех других индивидов <...>.

Ассоциации чувств и идей, развитие и последовательные трансформации которых составляют всю интеллектуальную и моральную часть истории человечества, не обуславливают образование в человеческом мозгу новых органов, соответствующих каждой отдельной ассоциации, и не могут быть переданы индивидам путем физиологической наследственности. То, что физиологически наследуется, — это все более и более усиленная, расширенная и усовершенствованная способность понимать их и создавать новые. Но сами ассоциации и представляющие их сложные идеи, как, например, идея Бога, отечества, нравственности и т. д., не могут быть врожденными и пере-

даются индивидам лишь путем *общественной традиции и воспитания*. Они действуют на ребенка с первого дня его рождения, и так как они уже воплотились в окружающей его жизни, во всех как материальных, так и моральных деталях социального мира, в котором он родился, то и проникают тысячью различных способов в его вначале еще детское, затем отроческое и юношеское сознание, которое рождается, растет и формируется под их всесильным влиянием.

Понимая воспитание в самом широком смысле этого слова, подразумевая под ним не только образование и уроки нравственности, но также и главным образом пример, который подают ребенку все окружающие его лица, влияние всего того, что он слышит, что он видит, не только его духовную культуру, но также развитие его тела посредством питания, гигиены, физических упражнений, — мы утверждаем с полной уверенностью, что никто серьезно не будет возражать против того, что всякий ребенок, всякий подросток, всякий юноша и, наконец, всякий взрослый человек является всецело произведением мира, который вскормил его и воспитал, произведением фатальным, невольным и, следовательно, безответственным.

Человек приходит в жизнь без души, без сознания, без тени какой-нибудь идеи или чувства, но имея человеческий организм, индивидуальность которого определена бесконечным числом обстоятельств и условий, предшествовавших самому рождению воли; она же, в свою очередь, обуславливает большую или меньшую способность человека к восприятию и присвоению чувств, идей и ассоциаций чувств и идей, выработанных веками и переданных каждому *как общественное наследство* при помощи полученного воспитания. Плохое это воспитание или хорошее, но оно дано человеку, и он не несет никакой ответственности за него. Оно формирует человека, насколько это позволяет более или менее восприимчивая индивидуальная натура последнего, так сказать, по своему образу, так что он думает, чувствует и желает то же самое, что хотят, чувствуют и думают все окружающие <...>.

Для того чтобы быть совершенным, воспитание должно быть гораздо более индивидуализированным, чем теперь, должно быть индивидуализировано в духе свободы и уважения свободы, даже и у детей. Его задачей должна быть не *дрессировка характера*, ума и сердца, а их пробуждение к независимой и свободной деятельности.

Оно не должно преследовать иной цели, кроме созидания свободы, не иметь другого культа или, лучше сказать, другой морали, другого объекта уважения, кроме свободы каждого и всех; кроме простой справедливости, не юридической, а человеческой; кроме простого разума, не теологического, не метафизического, а научного; кроме труда, физического и умственного, первой и обязательной для всех основы всякого достоинства, всякой свободы и права. Такое воспитание, широко распространенное на всех, как на мужчин, так и на женщин, при экономических и социальных отношениях, основанных на строгой справедливости, привело бы к исчезновению многих так называемых природных различий.

<...> В самом деле, хотя мы и утверждали, что в огромном большинстве случаев человек является всецело произведением социальных условий, в которых он формируется; хотя мы и оставили сравнительно малую долю влияния физиологической наследственности естественных качеств, с которыми рождается человек, тем не менее, мы не отрицали этого влияния. Мы признали даже, что в некоторых исключительных случаях, например, у людей гениальных или очень талантливых, как и у идиотов и людей нравственно очень испорченных, это влияние или природная детерминация развития индивида — детерминация столь же фатальная, как и влияние воспитания и общества, — может быть очень велика. Последнее слово по всем вопросам принадлежит физиологии мозга, а она еще не достигла той степени развития, чтобы быть в состоянии в настоящее время разрешить их даже приблизительно. Единственное, что мы можем сегодня с уверенностью утверждать, это то, что все эти вопросы бьются между двумя фатализмами: фатализмом естественным, органическим, физиологически наследственным и фатализмом общественной наследственности и традиции, воспитания и социально-политического и экономического устройства каждой страны. Здесь нет места для свободной воли.

Но помимо естественной, положительной или отрицательной детерминации индивида, которая может поставить его в большее или меньшее противоречие с духом, царящим в семье, могут существовать для каждого отдельного случая еще другие тайные причины, которые в большинстве случаев так и остаются неведомыми, но которые должны быть нами приняты, тем не менее, в расчет. Стечение

особых обстоятельств, неожиданное событие, иногда даже очень незначительный, сам по себе, случай, случайная встреча какого-нибудь человека, иногда книга, попавшая в руки данного индивида в надлежащий момент, — все это в ребенке, в подростке, в юноше, когда воображение кипит и еще полностью открыто для жизненных впечатлений, для жизни, может произвести коренной переворот как к добру, так и ко злу. Добавьте к этому характерную для молодости гибкость, в особенности когда молодые люди одарены известной естественной энергией, которая заставляет их противиться всем излишне повелительным и настойчиво-деспотичным влияниям и благодаря которой иногда даже избыток зла может породить добро.

Может ли в свою очередь избыток добра или то, что обычно называется добром, породить зло? Да, когда добро выступает как деспотический, абсолютный закон, религиозный, доктринерски-философский, политический, юридический, социальный или как закон семейно-патриархальный, — одним словом, когда, каким бы хорошим оно ни было или ни казалось, оно предписывается как отрицание свободы, а не является ее продуктом. Но в таком случае бунт против добра, навязываемого таким образом, является не только естественным, но и законным; этот бунт не только не зло, а, напротив, добро; ибо не существует добра вне свободы, а свобода является источником и абсолютным условием всякого добра, которое поистине достойно этого слова, ведь добро есть не что иное, как свобода <...>.